

ГАФУР ГУЛЯМ



Озорник



*Перевод Александра Наумова*



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ДЕТИ СТАРОЙ МАХАЛЛИ

Народу в торговых рядах уйма.

В большой чайхане Ильхама-чайханщика, что стоит как раз на повороте от молочного ряда к махалле Махкама, играет граммофон, без умолку звучат старинные песни в исполнении Туйчи-хафиза, Хамракула-коры, Ходжи Абдул-Азиза или ферганских певец. Места в чайхане всегда не хватает. Тут проводят свободное время байские сыновья



из торговых рядов. Они собираются вокруг дастархана, посреди которого на большом медном подносе разложены сахар, миндаль, фисташки, разные сладости, стоит в посуде варенье, а зачастую красуется и коньяк в соломенных плетенках с изображением ласточки. Усаживаясь, они весело горланят, рассказывают анекдоты, сопровождаемые громовым ржаьем. Дехканам, бедным кустарям, казахам, киргизам, приехавшим на базар издалека, нечего сюда и соваться.

Чайханщик — худощавый парень по прозвищу Асра-лысый, в легком халате нараспашку, подпоясанном голубым шелковым платком, услужливо носится среди посетителей. Через плечо у него перекинут кисейный платок в горошек, на ногах — кавуши. Стоит кому-нибудь из гостей крикнуть: «Асра!» или «Лысый!» — он уже тут как тут:

— Что угодно. мулла-ака. чай или чилим?

И не успеешь оглянуться, как он снова появляется — с маленьким чайником в одной руке и двумя китайскими пиалами в другой или наполняет табаком головку сверкающего медного чилима, шумно раскуривает и, кланяясь, подает гостю: «Мулла-ака, пожалуйста...»

Много удивительных вещей можно увидеть в этой чайхане. Но, конечно, самое замечательное в ней — это подвешенная к потолку у входа большая клетка, позолоченная, украшенная амулетами от дурного глаза и пестрыми флажками. В клетке живет попугай, ей-богу, настоящий, живой попугай! Перья его переливаются всеми цветами радуги, как шелковые нити в шкатулке вышивальщицы: синий, красный, голубой, желтый, белый, розовый, коричневый, темно-вишневый, фишашковый — все цвета, какие только есть на свете! Но главное, он разговаривает! Подумать только, он болтает так бойко и смешно, что я и сейчас еще слышу его голос, звонкий и раскатистый, как у трехлетней девчонки, только что научившейся говорить:

— Асра, Асра, услуги гостю, один чай, один чилим, пожалуйста, мулла-ака, пожалуйста, байвачча...

Мы, мальчишки, бродим по базару чумазой босоногой стаей, в рубахах и штанах из буза; мы спуем всюду, но ко входу в чайхану нас тянет неизменно:

— Попка, эй, попка!

Асра-лысый кидается на нас, делая свирепое лицо. Кто попадется, и впрямь получит изрядную порцию тумакон. А попугай посылает вслед нам крепкое ругательство:

— Ах, бабушку твою...

Впрочем, главным нашим развлечением на базаре служат джинни — юродивые. Сколько их в Ташкенте — и-и! Начнешь считать — собьешься! Карим-джинни, Рыжий, Пара Голубей, Майрамхан, Юродивый из Юродивых, Жена Ишана, Хал-паранг, Таджихан, Алим, Аваз... Каждый из них «сходит с ума по-своему», безумствует на свой лад; мы знаем их всех отлично. Пара Голубей, например, помешался на властях. И царя Николая, и Кауфмана, и Мочалова, и полицейского стражника по прозвищу Наби-вор — всех, бывало, соберет вместе и понесет, понесет, с непривычки и слушать страшно. Карим-джинни тоже ругается без умолку. Этому уже все равно — аллах ли, пророк, ходжи, ишан, казий, — он клянет всех подряд, клянет до седьмого колена, разносит в пух и прах! Когда-то он был ткачом, но потом стало полно фабричного ситца, Карим не мог уже кормить семью — и в конце концов помешался. То же, при-

мерно, случилось и с Хал-парангом. Он был родом из Коканда, ткал бархат и, судя по прозвищу, считался искусным мастером. Он сошел с ума, когда сгорела его мастерская вместе со станком. А Майрамхан? О, это, пожалуй, самый знаменитый из всех джинни! Его настоящее имя — Маматраим, он был слесарем, и таким превосходным слесарем, с такой «легкой» рукой, что считалось, удача сопутствует уже тем, в чьей мастерской, лавке или доме он побывал. Говорят, Майрамхан собственными руками и не ел-то никогда, столько находилось охотников кормить его пловом из горсти, как почетного гостя! Бессчетные мастера по изготовлению колыбелей, самшитовых гребней, веретеп считали это за счастье... Словом, он был всеобщим любимцем — потому и прозвали его Майрамхан! — и ходил по улицам и базарам, таща на себе панизанный на проволоку металлический лом, отпуская шуточки, сияя ослепительной улыбкой. Он прогорел со своим ремеслом, когда металлические изделия стали выпускать заводы; понемногу сделался никому не нужен и помешался от нищеты и тоски...

Джинни по прозвищу Жена Ишана, смуглая, статная, с тонкими черными бровями женщина лет сорока пяти, и вправду была когда-то женой ишана Миттихан-турам из Каландархоны; однажды она застала мужа со своей младшей сестрой и сошла с ума.

Один Аваз, пожалуй, не был настоящим сумасшедшим, а только притворялся, не желая работать.

Мы знали все истории этих несчастных — слышали от взрослых, сколько раз все это при нас пересказывалось! Но у мальчишек нет времени для жалости. Зрелищ на нашу долю выпадало мало, вот мы и выдумывали сами, что могли, а с джинни можно было устроить представление — лучше не надо! Иногда мы уговаривали их спеть или сплясать, но чаще просто безжалостно дразнили. А когда они приходили в иступление, тут-то и начиналось самое интересное. Они бросались за нами вдогонку, мы увертывались, не всегда удачно, нам-таки перепали от них побои, — поделом, конечно. Словом, остроты ощущений хватало и смеху тоже, особенно, когда сходились два-три джинни вместе. Как-то раз джинни по имени Таджихан стал гоняться на улице за прохожими, размахивая черенком от кетменя и требуя, чтобы все шли в одну сторону.

— Эй, не разбредайтесь! — вопил он. — Порядок должен быть, порядок!

Никто ничего не мог с ним поделаться, покуда не появился Алим-джинни.

— Эй, джинни, что ты тут мелешь? — закричал он.

— Почему они не идут в одну сторону? — говорит Таджихан. — При царе Николае порядок должен быть! Порядок!

— Ай, и дурак же ты, Таджики, — сказал Алим-джинни, — ну и дурак! Земля у нас знаешь какая? Вроде весов! Если все пойдут в одну сторону, что получится? Наклонится она, как поднос, и все мы утонем тогда в Курдударье!

Таджихан остановился, постоял с разинутым ртом, покачал головою — и пошел прочь. Видно, одну сумасшедшую мысль может выковырнуть из головы только другая, еще более сумасшедшая, — как иголка занозу.

Так, в развлечениях, проводим мы дни и едва замечаем, как наступает вечер. Забежав домой сразу после третьей молитвы, что перед заходом солнца, мы наскоро хлебаем мучную похлебку, или затируху, или какое-нибудь варево из маша — с тыквой или рисом, или суп с лапшой, что-нибудь, что оказалось в доме, — и снова убегаем на улицу, над которой начинают высыпать добрые летние звезды...

Наша махалля с одной стороны выходит к махалле Тиканли-мазар, с другой — к махалле Кургантаги. Мы собираемся в глухих тупичках, расположенных слева от главной улицы, и играем допоздна. Вечером — самая игра, особенно в лунные вечера. Летом, весной, осенью улицы наши пыльные, мягкие, одно наслаждение, только вот зимой — вязкая грязь, кому по колено, а нам так по пояс, и тогда мы переносим свои игры на площадь или в крытые переходы со дворов на улицу. В тусклых фонарях, установленных городской управой, горят семилнейные керосиновые лампы. Каждый вечер проходит фонарщик с лестницей, наливает керосин, подрезает фитили, чистит стекла; утром он проходит снова — гасит фонари. В темноте, стоит чуть стойти, они едва мерцают — точно глаз кошки. Их красноватое пламя не столько освещает улицу, сколько напоминает прохожим, идущим по узкому тротуару: «Эй, не наткнись на меня! Я здесь...»

Ну, что можно делать при свете такого фонаря? И разговаривать-то неудобно! Взрослые, едва сотворив последнюю вечернюю молитву, расходятся по домам. Улицы пу-

стеют. Даже ворона не пролетит. Остаемся только мы. Самое время для игры в прятки...

Впрочем, у нас множество и других игр: борьба, «батман-батман», тоже что-то вроде борьбы: играющие стоят спиной друг к другу, сцепятся руками и поочередно поднимают напарников себе на спину; или еще игра в «белый тополь, зеленый тополь» — мальчишки разбиваются на две группы, каждая выбирает вожака, загадывает кого-нибудь, а противоположная сторона должна угадать — кого? Отгадавшие садятся на спины противников и едут до условленного места... Что еще? Ну, вот хотя бы «минди-минди», или «вор пришел», или «головка моей птички»...

По правде говоря, все эти игры немножко похожи друг на друга. И почему это так увлекательно — сидеть верхом на ближнем? Затевая «головку моей птички», ребята опять же разбиваются поровну на две команды, каждая выбирает «матку» — главаря. «Матки» берут какую-нибудь тряпицу, завязывают ее узлом, стараясь придать форму птицы, потом, перешептываясь, загадывают название: козодой, чайка, синица, горлинка, ястреб, пустельга... А обе ватаги терпеливо ждут, пока «матки» наконец договорятся и, показывая тряпичное чучело, приступят к опросу:

— Головка моей птички во-от такая, а туловище во-от такое, отгадай, что за птица?

— Коршун! — вопит ватага.

— Не-ет, не отгадал!

— Курица!

— Хо! Не отгадал!..

— Иволга.

— Не отгадал!

— Филин!

«Матки» сдаются:

— Отгадал, отгадал...

И ребята из команды, к которой принадлежит отгадчик, усаживаются верхом на соперников, дружно кричат: «Хык, мой ишачок!» — и едут на чужих спинах, куда было условлено. Тут кто-нибудь спрашивает у «матки»:

— Верхом или пешком?

Если «матка» скажет: «Что внизу — то вверх», ослики и всадники меняются местами...

Разъезжая «верхом», мы поем песни, их нам тоже не занимать, ну, хоть вот эта:

Хум, хум, кабы власть,  
пить, есть можно всласть.

Хан, хан, Умарали,  
бек, бек, Мадали,  
нам, нам вашу власть,  
пить, пить станем всласть!

Носимся, поем, кричим, пока не выведем из терпения какую-нибудь старуху:

— Чтоб вам провалиться, дети шайтана!

...Да, есть ведь еще «гонки нагишом»! Ну, это совсем просто: берем две тубетейки, привязываем их к вискам, получаются словно бы лошадиные уши! — подол сзади завязываем наподобие хвоста — и устраиваем бег на разные расстояния. Обычно наши маршруты проходят по Тиканли-мазару, по Караташу, по Ялапкари, Алмазару, Деваибегги и снова по Тиканли-мазару; получается круг длиной версты в три. Прибежавшего первым встречают хлопками в ладоши, возгласами похвалы, всяческими знаками почета. Главное, до следующих «скачек» он считается самым сильным...

Кроме силачей, есть еще и богачи, но богатство у нас тоже на свой лад. Главной ценностью почитается альчик, раскрашенный, залитый свинцом, или костяная бита, которую нам подтачивают мастера-веретенщики, или крышка от каких-нибудь старых часов... Эти ценности в ходу главным образом днем, когда бегать по базару да по чужим улицам слишком жарко — в разгар лета, или слишком грязно — зимой. И тут своя вереница развлечений: всякие виды игры в альчики, в орехи, в мяч, в чижики, стрельба из лука, игра в конокрадов...

А ведь в месяц поста ко всему этому прибавляется много интересного. Вечерами мы ходим по махалле из дома в дом и поем «Рамазан». После захода солнца, с наступлением намазшама, четвертой молитвы, и до полуночной трапезы, которая именуется «сахарлик», мы бродим из мечети в мечеть и слушаем, как коры, раскачиваясь, распевают Коран наизусть...

И то сказать, времени у нас хватает, в школе задерживают нас ненадолго, а дел... Какие у нас могут быть дела! Наши родители и себе-то подчас не могут найти работу, где уж там пристроить мальчишек!

Махаллю вроде нашей населяют обычно мелкие ремесленники — кожевенники, что обтягивают кожей литавры и бубны или изготовляют потники; веревочники; мастера, которые чинят фарфоровую или стеклянную посуду (с помощью металлических скрепок), водоносы, носиль-



щики, конюхи, сторожа, массажисты, мелкие служители окрестных мечетей... Правда, в нашей махалле жили главным образом рабочие типографии и кондитерской. Но все же, кого тут только не было! Это родители моих товарищей, я их помню отлично.

Отец Амана, Турсунбай-ака, изготавливал перочинные ножи. Был он вдовец, жена его умерла рано, и Аман остался единственным сыном. Отец Абида — да, Абидов ведь у нас было двое, мы различали по прозвищам: одного звали «Ит» (пес), другого — «Бит» (вошь) — так вот, отец Ит-Абида, Захид-ака, был старьевщиком, а у Бит-Абида отец шил ножны. Кожевенным ремеслом занимался и отец Хуснибая, Аманбай: изготавливал хомуты.

Отец Салиха, Юнус-ака, был хафизом — певцом. Расулмат-ака, отец Турабая, торговал гузой, а отец Абдуллы, Азиз-ака, — керосином. Он разъезжал на повозке с огромной бочкой и продавал керосин на улицах. Разумеется, и повозка, и лошадь, и бочка, и керосин ему не принадлежали: он служил в компании Нобеля.

У Пулатходжи отец что-то вроде коммивояжера; он ездил по разным городам, расположенным по ту и эту сторону границы, и исчезал иногда очень надолго. Говорят, когда Пулатходжа был шестимесячным зародышем, то прирос к утробе матери и оставался там, пока отец — лет пять или шесть — разъезжал по Кашгару; родился он спустя три месяца после возвращения отца.

Собирались мы в доме у Юлдаша, который жил без старших; мать его давным-давно умерла, потом заболел и умер отец — Бува-ака, сапожник.

Кстати, сапожным ремеслом занимался в махалле еще Миразиз-ака; меня даже отдавали к нему в ученье. Из примечательной он был семьи. Отец его, Салимбай, с тех пор как поселился в нашей махалле, кормил семью тем, что приносил кости с бойни и вываривал из них жир. Но когда-то он был воином у Якуб-бека и во время Кашгарского восстания захватил в качестве трофея девушку-китайку. Он привез ее в седле, заставил принять мусульманство и потом женился. Ее китайское имя он сменил на Бахтибуви. Миразиз-ака был младшим их трех сыновей Бахтибуви.

Всех ли соседей я помню?.. Фу-ты, чуть не забыл самых важных птиц! Как, однако, меняются времена! Тогда они были первыми, настоящие богачи: мануфактурщик Карим-кору, торговец воском Якуб-тыква, торговец крас-

ками Абдуллаходжи. Они стояли в мечети впереди всех, только вот не помню, кто в какую мечеть ходил — их ведь было две поблизости: одна на Тиканли-мазаре, другая на Кургантаги. При каждой из них была школа, имамы были и учителями: на Тиканли-мазаре — Шамси-домла, на Кургантаги — Хасанбай. Я ходил во вторую, к Хасанбаю-домле, который учил не по «Хафтияку», а по «Устоиди-Аввалу» и куда быстрее обучал грамоте...

## ПЛОВ В СКЛАДЧИНУ

Это злополучное для меня дело затеял Юлдаш.

Мы играли в альчики под навесом, у главного входа в Лайлак-мечеть, и мне необыкновенно везло. Карманы и рукава моего легкого халата, да еще и поясной платок были полны выигранными альчиками. Я упивался победой и, пряча за пазуху очередной выигрыш, радостно вопил:

— А-а, проворонили! Ащички мои!

Конца удаче не предвиделось. Тут-то и появился Юлдаш. Он подошел, вытирая нос засаленной полой халата, посмотрел на игру и сказал как бы нехотя:

— Что, ребята, устроим плов в складчину?

Все мгновенно к нему повернулись:

— Устроим! Устроим! — Мое везение явно не приводило в восторг никого, кроме меня.

Юлдаш прищурился:

— Где?

— Где хочешь! Ну, хоть в бывшем дворе Ризки-халфи! — Ризки-халфи был помощником учителя.

— Идет, — сказал Юлдаш и стал распределять, кому что. Хуснибая выбрали поваром: котел, шумовку, соль перец, воду должен был обеспечить он. Рис и морковь взял на себя сам Юлдаш. Принести мясо выпало на долю простачка Абдуллы, сало обещал достать я, а прочее (прочего-то почти не оставалось) поручили хитрецу Пулатходже.

Мы разошлись, и я, отягченный выигрышем, отправился домой за салом.

Мать была на кухне. Она развела огонь в тандыре и лепила самсу с тыквой. Я высыпал альчики в своем уголке. Припасы и домашние мелочи хранились в чуланчике, позади нашего старенького домика. Путь туда лежал мимо айвана; на айване моя средняя сестренка нянчила младшую. Пройди я мимо нее даже с самым независимым ви-

дом, она тотчас заинтересовалась бы — куда? — и подняла шум, как сторожевая собака. Пришлось прибегнуть к хитрости.

— Шапаг, — сказал я ей, — а где твой большой мяч?

— Там, где мои куклы, а что?

— А вот и нету там!

— Ах, чтоб тебе пусто было, наверно, ты и взял, отдай сейчас же, отдай!

Я стоял, ехидно улыбаясь. Она кое-как положила сестренку и, зашипев в мою сторону, побежала к своим куклам. Я помчался в чулан, мгновенно отковырнул кусок сала в кувшинчике, завернул его в клочок бумаги, которым кувшинчик был накрыт, и сунул добычу за пояс. Главное дело было сделано. Я спокойно пошел в сарай, где хранились дрова. Оказалось, серая курица снесла яйцо и теперь его высиживала. Мне представлялся прекрасный случай отличиться: кроме сала, я принесу еще и яйцо, а ведь оно не входило в мою долю! Я согнал курицу, она закудаhtала и убежала, я пристроил яйцо под шапкой. Теперь оставалась одна опасность: надо было пройти мимо кухни. Я пошел к калитке, будто прогуливаясь, в надежде, что мать занята у тандыра. Увы! Она стояла у двери и со страдальческим видом, со слезящимися глазами, отмахивалась рукой от дыма.

— Ах, чтоб ты сдох! — закричала она. — Опять на улицу?

Я покорно остановился.

— Только и знаешь, что бегать, проклятый! — кричала мать. — А ну, иди сюда, помоги мне разжечь огонь. Дымит, чуть не ослепла!..

Делать было нечего, я пошел к тандыру и стал раздувать пламя. Дым ел мне глаза, яйцо тихонечко перекачивалось под шапкой, точно выжидая удобного случая выкатиться или произвести на свет цыпленка. В кухне было жарко. Огонь наконец начал разгораться, когда я почувствовал, что по животу и ноге у меня что-то течет. Это от жары растаяло сало! Жирная струйка густела и наливалась силой, как арык в половодье. Меня охватили досада и страх. Штанина намочла, растаявшее сало начало капать на землю. Я как раз собирался обернуться, чтобы посмотреть, не видит ли все это мать, — и тут на мою голову обрушился удар.

— Чтоб ты сдох! — кричала мать, размахивая скалкой. — Такой здоровый балбес, сам мог бы иметь детей,

если б женился,— и обмочился здесь, в священном месте, где хранятся принадлежности Фатимы и Зухры. Ах, чтоб...

Тут она осеклась и уставилась на меня. Яйцо под шапкой разбилось, желток, смешавшийся с белком, тек у меня по виску и правой щеке. Мать слышала легкий хруст при ударе, теперь она, видно, решила, что пробила мне голову и это вытекает мозг. Мешкать было нельзя. Я скользнул мимо нее к выходу и помчался со двора. Мать вслед что-то кричала, к ее крику прибавился злобный визг сестренки, но мне было не до них. Через мгновение я был уже далеко на улице.

Обогнув третий угол, я остановился, чтобы обдумать свое положение. Было оно такое, что хуже пекуда. Идти к ребятам не с чем. Домой я тоже не мог вернуться, мать вот-вот обнаружит пропажу доброй трети сала, тогда мне и вовсе несдобровать. Куда деваться? Я вдруг почувствовал одиночество и тоску. Нет мне приюта в этом мире!

Я стоял, машинально ковыряя пальцем дувал, у которого остановился. За дувалом, во дворе, шла обычная жизнь, слышались спокойные голоса. Какая-то девчонка крикнула: «Ой, тетя!»

И тут меня осенило: тетка на Сагбане! Как я об этом сразу не подумал!

В самом деле, на улице Сагбан жила со своим мужем, скорняком, моя бездетная тетка, сестра отца. Бывал я у них редко, но они во мне души не чаяли. Детей у них нет, в доме вечно тишь и гладь, все прибрано, все вылизано, так что иногда даже скука берет, да и ребят окрестных я там не знаю. Но зато ведь и дом у них как магазин, чего там только нет! Почти все, что водится на свете!

Три охотничьи птицы с мощными когтями: ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, пустельга. Бойцовый петух. Индюк. Обыкновенный петух, но такой огромный и толстый, что на нем можно прокатиться верхом, с фиолетово-зеленой спиной, черными боками и багровым гребешком, похожим на язык пламени. В клетке, плетеной из ивовых прутьев, жил кеклик. В сетке, с дном из тыквы, обитала перепелка. Из певчих там были соловей, щегол, скворец, горлинки...

Жили в доме и три собаки: одна охотничья, борзая (ее держали только из роскоши, дядя с ней никогда не охотился), маленькая комнатная собачонка, которая меня, правда, терпеть не могла, и дворняжка, в старой конуре у ворот. Все они мирно уживались с пышной бухарской

кошкой. Когда я был в последний раз у тети, у кошки появилось пять или шесть котят, и их наверняка тоже оставили в доме.

А какой был во дворе цветник! Портулак, шиповник, ирис, розы, астры, резеда, ночная красавица, георгины, олеандр, ноготки — всего и не упомнишь... Каждый куст дядя с теткой оберегали как зеницу ока, но я так и не мог понять, как им удавалось спасти свой сад от своего зверинца.

И такими они угощали лакомствами! Я вспомнил все это, и у меня даже слюнки потекли от предвкушения той полной удовольствий жизни, которой готово было сменитьсь мое грустное существование изгнанника. Я кое-как умылся у ближнего арыка и отправился на Сагбан, то и дело останавливаясь по дороге, чтобы рассмотреть все попадавшиеся навстречу любопытные вещи, и переживая в воображении начало новой прекрасной жизни.

Как я и ожидал, дядя и тетя встретили меня с радостью. Тетка сразу засуетилась и запричитала:

— Ах ты, голубчик мой, заходи, заходи. Как вырос! Каким тебя ветром занесло! словно брат воскрес и пришел к нам, недаром у меня веко подергивалось сегодня!

Я, скромно потупясь, сказал, что очень по ним соскучился и пришел к ним на несколько дней. От этих слов тетка засветилась, да и дядя обрадовался.

— Ну, молодец! — сказал он ласково, глядя меня по голове. — Вот так молодец! Вспомнил нас! Не зря юлпашша (это такая большая муха) все кружилась нынче по комнате, я и то думал, что за гости будут? Оказывается, это ты! К добру она прилетала, к добру, ай, молодец!

Осыпая ласковыми словами, они повели меня в дом, и я так разомлел от всего этого, что и сам поверил в объявленную мной причину прихода.

Для меня началась жизнь как в раю.

Впрочем, многие уже убеждались и до меня, что жить в раю скучновато. Я понял это к середине второго дня, выяснив свои отношения со всеми животными и при этом дважды доведя до бешенства комнатную собачонку, перекормив дворняжку, лишив громадного петуха нескольких самых красивых перьев во время попытки совершить на нем путешествие вокруг цветника, дав понять двум кошкам — матери и дочери, где их настоящее место в доме, и так усердно перенюхав цветы, что они лишились доброй половины своего аромата.

Я попросился на улицу. Дядя дал мне три копейки на мелкие расходы — немалая сумма (а мне было обещано, что я стану получать ее каждый день, если постараюсь не попасть под арбу), и я отправился навстречу новым знакомствам.

Махалля была не такой многолюдной как наша, но ребят хватало, и занимались они, в общем, тем же, что и мы, так что я без труда включился в их игры. Два дня мы играли в войну, потом стреляли из лука, играли в альчики, однако на этот раз мне не везло. На третий день с утра решили стравливать собак. Из двух бродячих псов, которых мы поймали, один оказался таким слабонервным, что дал стрекача, едва ему представилась возможность. Тогда я решил похвастаться дядиной дворняжкой и тайком вывел ее со двора. Сначала, чувствуя мою поддержку, она отважно кинулась в атаку, но недавние желудочные неприятности, должно быть, сильно подорвали ее силы и веру в себя. Она была побеждена и вернулась с поля битвы с перекушенной ногой. Боюсь, она хромала потом до конца жизни.

Мне было жалко дворняжку, я никак не рассчитывал на такой исход. Теперь пришлось ломать голову, как скрыть эту беду от дяди, но мне снова повезло! Дядю пригласили за город, на бахчу, чтобы поесть дынь прямо с грядки. Дядя решил, что заодно навестит родственников, у которых должен был побывать по случаю хайта, и собрался за город на несколько дней. Он захватил с собой борзую и ястреба-перепелятника, да еще сачок с длинной ручкой, которым ловят птиц. Дворняжкиной раны он не заметил — бедная собака забилась в глубь конуры, к тому же я тщательно загораживал ее спиной. Перед самым отъездом дядя дал мне три бухарских танги:

— Корми птиц, смотри, чтобы они не сидели голодными. Вот, купишь им еще корму, если я задержусь...

Я загордился. Я уже взрослый, мне скоро четырнадцать, мне доверяют важное дело. Да еще не каких-нибудь пташек, а таких хищников, как ястреб и пустельга! Я пошел на птичник. Ястреб и пустельга сидели на насестах в разных углах, вобрав в себя головы. Я не знал, чем дядя их кормит, но в голове у меня мелькнула одна мысль. Помет у них совершенно белый. Белый, как молоко. Может, им нужна молочная пища? Конечно, пресное молоко не годится, слишком жидко, а простокваша? Должно быть, в самый раз! Надо попробовать. Нет, определен-

по эта пицца им в самый раз. Иначе помет не был бы таким белым, и как это никто еще не догадался?

Тайком от тети я взял в кухне горшочек, в котором обычно сквашивают молоко, и отправился на базар. Там за две копейки мне наполнили горшочек доверху. Дома я разлил простоквашу в чашки и поставил их каждой птице. Они бросили на пиццу равнодушный взгляд и тут же отвернулись. Еще бы, породистые птицы, гордые, не какая-нибудь мелюзга! Хоть и голодны, а при людях до пиццы не дотронутся. Будь это курица, она бы тут же показала бы свой низкий характер, сразу бы накинута на еду. А эти — нет.

Я вышел из птичника. Часа два спустя я зашел туда снова. Гордые птицы все еще сидели, отвернувшись от пиццы и не слезая с насеста. Я разозлился. Душа-то с воровья, а тоже — важничают, подумаешь, хищники! Я ведь проявил к ним полное уважение, даже вышел, думая, что они любят обедать без посторонних. А они — на тебе! Не притронулись!

На резном колу в птичнике висели рукавицы дяди: он надевал их, сажая птиц на насест. Я надел рукавицы, взял пустельгу и, зажав ее меж колен, стал кормить простоквашей из серебряной ложки. Когда я решил, что пустельга наелась досыта, я посадил ее обратно на насест и взялся за ястреба. Ястреб тоже прилично поел.

— Теперь порядок, — сказал я им, уходя. — Когда человек сидит неподвижно на одном месте, он знает, как утомляется? А когда наешься как следует, тогда хватит сил, чтобы посидеть спокойно. Теперь сидите себе: сыты — и горя нету.

Так, потихоньку от тетки, я кормил их дня два. Пустельга мне особенно нравилась, и я скармливал ей густой верхний слой простокваши. Забот у меня теперь стало многовато, я почти не выходил на улицу. Тетя молча радовалась, глядя на меня, но я делал вид, что не замечаю, как она вся сияет доброй улыбкой.

— Молодцы! — сказал я. — Не все же сидеть на насесте! Тоже надоедает.

На завтрак птицы опять ели простоквашу. В полдень я решил дать им сюзьмы, они ведь сидели все время на постном и соскучились по жирной пище. Но когда вечером я снова вошел в птичник, то не поверил своим глазам! Пустельга лежала мертвая, подвернув под себя крыло и вытянув ноги. Ястреб лежал в такой же позе; он еще ды-

шал, но ясно было, что долго не протянет... Меня охватил ужас: что я теперь скажу дяде? Он же так любил этих птиц! И чего им понадобилось подыхать? Неужели из-за простокваши? Подумаешь, я тоже люблю мясо. А сколько дней я сидел на одном молоке, да и того — не вдоволь? Надо же, какая беда! Что же я все-таки скажу дяде?.. И тут я понял, что мне сказать ему печего. Жизнь моя в этом городе кончена. Теперь все пропало. Надо уходить, пока не поздно. Уходить куда глаза глядят. Как молодцы в старых сказках, которые рассказывала мама, когда я был маленький. Пожалуй, не такое уж плохое это было время. И я слова почувствовал себя таким одиноким и несчастным, что мне захотелось плакать. Но делать этого было нельзя, тетка могла заметить.

Из тех денег, что дядя дал на корм, оставалось еще пять копеек. Я спрятал их в пояс и пошел к воротам. В крытом проходе висела клетка с горlinkками, которых я очень любил. Я посмотрел на них с сожалением, подумал немного и вдруг решился: тихонько спял клетку с крючка, поставил ее на голову и вышел. Улица была почти пуста. Я пошел быстрым шагом, чтоб отойти поскорее от дома. Мне представилась тетя: когда я уходил, она готовила шавлю для кошек. Что она будет делать, когда меня хватится? Уж наверно, заплачет. Чтоб отогнать эти мысли, я в виде напутствия хлопнул себя свободной рукой по заду и — деньги в поясе, полы подоткнуты, клетка с горlinkками на голове — пошел, пошел, как герой сказки, держа путь далеко... за пределы города.

Я по дальней дороге, рыдая, пойду,  
ты останешься, плача, в печальном саду.  
Мы две горlinkки малых, два слабых птенца,  
и разлука меж нами — как путь без конца.  
Ах, печаль моя, пыль да полуденный жар,—  
каково мне, расскажет дорожный комар.  
Я же — песню сложу про тоску да жару,  
каково на дороге тому комару.  
Ах, спроси не меня, расспроси мудреца,  
каково нам, скитальцам, в пути без конца...

## БАЗАР

Я шел куда глаза глядят, а так как частенько они глядели по сторонам, я долго плутал в глиняном лабиринте, пока выбрался на дорогу, ведущую прочь из города. Тем



временем стемнело. Черные тени карагачей, чинар, тополей, стоявших по обочинам, слились воедино. Днем они дарили прохладу, теперь под деревьями казалось душнее, чем в поле. Дорога опустела. Неподалеку разъехались с руганью две встречные запоздалые арбы, прошел мимо, прихрамывая, какой-то дехканин. Он обогнал меня, видно, торопился домой. Пора было и мне подумать о почлеге. Время от времени к самой дороге выходили дувалы каких-то дворов, там негостеприимно лаяли собаки. Я решил переночевать в поле. На свободе и впрямь было свежее. Только теперь я сообразил, что не захватил с собой ни еды для себя, ни корма для горлинок. Придется терпеть до утра. Я вспомнил с сожалением теткинны теплые лепешки и даже простоквашу, которую скамливал проклятым птицам. Клетку с горлишками я сунул в какой-то густой куст, расстелил рядом свой халат и лег. Надо мною простиралось черное, утыканное звездами небо. В первый раз оно показалось мне таким громадным. И звезд столько, что, пожалуй, их и вправду не сосчитать. Я попробовал — и заснул.

Разбудило меня солнце, оно только что встало из-за горизонта и брызнуло светом в глаза. Тело ныло — постель была жестковата. Но голова стала легкой и ясной. Я натянул помятый халат, взял горлинок и отправился дальше в путь.

Долго ли, коротко ли я шел (как говорят в сказках), но впереди показались дома селения. Звалось оно Аччабад, это я потом узнал. Не успел я опомниться, как навстречу вынеслась ватага черномазых ребят разного возраста. Они окружили меня и, разглядывая, стали обмениваться замечаниями разной степени дружелюбности, начиная от довольно лестной характеристики моего халата и кончая предложениями отлупить меня, чтоб не шлялся там, где не надо. Их было человек двадцать, некоторые раза в полтора выше меня, другие доставали мне до пояса, таких четверых можно бы уложить одним ударом. Но об этом сейчас нечего было и думать.

Неожиданно от них поступило деловое предложение.

— Продай-ка горлинок, — сказал басовито самый длинный, должно быть, главарь. На нем была рыжая тубетейка, разорванная почти до середины, так что голова у него походила издали на треснувшую дыню.

— Не продаются, — сказал я как можно более твердо.

— А-а, не продаются! — пробасил Рыжая Тюбетейка таким зловещим тоном, как будто теперь-то уж наступило самое время втоптать меня в землю. Ватага сгрудилась тесней. Рыжая Тюбетейка подумал и сказал: — Ну, тогда выменяй!..

— На что? — Я решил продать свою жизнь возможно дороже.

Тут они все ужасно загалдели и стали совать мне под нос у кого что было в руках. Особых цепностей я не увидел, но поскольку с горlinkками все равно приходилось расставаться (я-то был уверен, что они их у меня попросту отнимут), это было лучше, чем ничего. Минуту спустя они унесли с горlinkками, а я остался с кучей добра на руках. Тут было три обода от решет, деревянная трещотка, две игрушечных колыбели, продырявленный бубен, кожу и обод которого зачем-то выкрасили в красный цвет, деревянная лопатка, две порции жвачки. Я прогадал или они — это одному богу известно, но теперь моя поша сделалась в несколько раз тяжелее. Кое-как связав все и взвалив себе на спину, я двинулся дальше и миновал селение без новых происшествий.

Деревья по обочинам давно уже остались позади, вокруг расстилалась бугристая степь, поросшая колючкой, там и сям зловеще поблескивали проплешины солончаков. Ноги мои погружались в пыль, сверху пекло полуденное солнце, мне страшно хотелось и есть и пить — даже не знаю, чего больше.

Вдали показалось одинокое дерево, и я, сколько мог, ускорил шаг, торопясь добраться до тени. Она была уже близко, когда я заметил, что навстречу мне, тоже, видно, направляясь к дереву, бредет тощая фигурка с кетменем на плече. Что-то в ней показалось мне знакомым. Мы сошлись еще немного поближе, и — подумать только! — я узнал моего друга Аманбая. Того самого Аманбая из нашей махалли, отец которого торговал ножами собственного производства! Мы оба страшно обрадовались и побежали навстречу друг другу, забыв жару и усталость. Встретились мы как раз у дерева — старой джиды.

Недели две назад отец послал Аманбая к родственникам в кишлак, чтобы они пристроили его поденщиком. Теперь поденная работа кончилась, и Аманбай возвращался домой — пешком, таща на себе кетмень. Он, конечно, ничего не знал о моем бегстве из дому и, приметив ободы от решета, решил, что меня тоже послали на зара-

ботки — формировать кизяк. Мы сели под джидой, и я рассказал ему про свои несчастья.

Обменявшись новостями, мы оба вспомнили, что голодны, и, как по команде, задрали головы кверху. Но, увы, никаких плодов на джиде не было.

— Видно, она того сорта, что плодоносит раз в два года, — сказал я ехидно. — Надо не забыть прийти сюда в будущем году.

— Ну и дурак, — сказал Аман. — Сейчас же саратан, забыл, что ли? В саратане плоды отправляются в Мекку, чтобы им на косточках написали «алиф!» Они скоро вернутся.

Как я мог забыть об этом! Есть нам, однако, было нечего. Ни у меня, ни у Амана — ни крошки съестного.

— Вообще-то не очень далеко отсюда Кок-Терак, — сказал Аман нерешительно. — Большо-ой город... И базар там здоровый!

— Пошли?

— Я ж домой иду...

— Пошли! — сказал я. — У меня деньги есть, и вещей сколько! Продадим!

— У меня тоже есть деньги. Я ж заработал.

— Ну вот! Пошли, а завтра вернешься! А то... пойдём со мной? А?

Аман молчал, переживая внутреннюю борьбу. Мое предложение явно показалось ему заманчивым. Я стал рисовать яркие картины будущего путешествия и богатые возможности, которые перед нами открывались. Он слушал, изредка взглядывая на меня, и вдруг вскопился:

— А, ладно! По рукам! Клянисься — все пополам?

Я с радостью поклялся.

Мы разделили пожитки поровну, подсчитали деньги (я оказался сравнительно с Аманом прямо-таки богачом: он заработал поденщиной без малого одну таньгу) и зашагали. К заходу солнца мы пришли в Кок-Терак и остановились в чайхане. Нам повезло: назавтра была пятница — базарный день. Утром мы отправились на базар.

Это был базар, скажу я вам! Ну и ну! Всем базарам базар! Иран да Туран, Мекка да Медина, Маймана да Майсара, Стамбул и Мазандаран! Ни во сне, ни паяву, ни в грезах не доводилось человеку видеть такого базара. И рассказать нельзя, сколько тут было разных торговых рядов, какое обилие товаров, какая пестрота базарного люда! А лица торговцев — такие хитрые, как будто им не раз уж

удалось обмануть весь свет! И одежда на них — всех цветов радуги, да еще у каждого цвета по два сына с внучатами, такие оттенки, что и не знаешь, как назвать! В глазах так и пестрит, так и мелькает, в ушах — гам, звон, грохот, точно народ расходится после Страшного суда. Такого базара не описывает ни «История пророков», ни книга «Хурилика», такого базара и не было еще в мире.

Нет уж, давайте рассматривать все по порядку! Вот парфюмерно-галантерейный ряд. Галантерейщики разложили свой товар прямо на земле, устроив навесы из старых мешков, перепачканных паласов, клочков материи, из сшитых лоскутьев — красных, синих, зеленых. Тут можно все найти, чего душа ваша пожелает, все, что от сотворения мира изготовляли галантерейщики и парфюмеры. Желаете ли ртутной мази против вшей и блох? Или, может, масла индау от чесотки? Или средства от сибирской язвы? Или имбирь, александрийский лист, аконит? Или черные бусы с белыми крапинками, которые надевают от дурного глаза? Или шарики от болезней желудка? А то, может, вам нужна большая игла, какой стегают ватное одеяло, или гребень для бороды, или шнур для штанов, или тесемки, чтоб подшить штаны снизу? Или лекарственное растение «халилан-занг» — кто его знает, от чего оно лечит, но если вам неизвестно, чем вы больны, оно в самый раз. А вот пластырь с целебной мазью от всяких ран и язв, бухарская жвачка, гвоздика, лекарственная гречиха... Что и говорить, тут есть все! Ирбит, настоящий Ирбит!

Только и остается восхищаться теми, кто все это собирал, сортировал, раскладывал...

А вот другой торговый ряд. По одну сторону — гончары, по другую — торговцы мылом. У гончаров вас ждут целые выводки обожженных глиняных красавчиков, целые семейства кувшинов, кувшинчиков, чашек, блюд, похожих, как близнецы или братья-погодки. Нужен вам большой таз или, наоборот, маленький тазик, или требуется огромный хум — пожалуйста, их только что вынули из хумдана, такой здоровой печи, где обжигают глиняную посуду. Или вы хотите горшочек для заквашивания молока? Или маленький кувшинчик с горлышком, как у дышла? Все это ждет вас, ждет не дождется, и от радости так и отдает звоном, стоит щелкнуть по стенкам пальцем.

В ряду у мыловаров разложено круглое мыло, свечи. Перед мыловарами в хурджунах — шкварки и внутрен-

ности животных. Жужжат тысячи зеленых мух. Чтобы купить здесь фунт мыла, необходимо сначала обмотать нос платком или спрятать его в рукав. Некоторые мыловары, привлекая покупателей, стоят с угощением в руке — пиалой чая и кусочком лепешки. Но какой уж там чай, какая лепешка! Хорошо еще, если не вывернет тебя панзанку. По мне, лучше век не видеть мыла, лишь бы не пырять в эту вонь, густую, как вчерашняя шавля.

Однако ж это еще не самые знаменитые ряды: на весь мир прославлен «Битбазар», — то есть «Вшивый рынок», барахолка. Вот уж тут действительно можно найти все, что душе угодно и чего не угодно: солдатские брюки, непарные кавуши из сагры, толстый стеганный ватный халат, который и носили-то всего лет семь, не больше, одна беда — сейчас трудно установить, из какой ткани его сшили; или тюбетейку, — очень ценную по-своему тюбетейку, ведь по возрасту она могла бы стать аксакалом среди всех тюбетеек к востоку от Каспийского моря; или верхнюю одежду с короткими, до локтей, рукавами времен Малляхана; или лоскутья разных цветов — чего только не сошьет из них искусная мастерица! А может, вам нужна попона? Хоть ее и сняли с дохлой лошади, она еще поживет! Или сафьяновые ичиги — о, вы их еще поносите, стоит только поставить новые задники и подошву да покрасить как следует голенища! А сколько тут материи для портянок, — какой выбор! Для портянок или еще для передников, которые падевают мужчины, когда моются в бане...

Но самое интересное — физиономии перекупщиков, которые всем этим торгуют. Они не мыты уже добрую неделю, борода отроду не знали бритвы, но лица так и светятся. Стоит вам обратить внимание на товар да спросить цену, они просят так, словно воскрес их дорогой покойник, которого вчера только с рыданиями похоронили. Они непременно сначала поздороваются с вами за руку, а потом уже назовут цену. О, доводилось мне слышать, что есть на свете место, именуемое «Амиркан». Видно, это самый Амиркан и есть!

И надо же, именно здесь, на Битбазаре, мы встретили Хуснибая из нашей махаллы! Мы увидели его, когда уже довольно долго бродили тут, ошеломленные гамом, пестротой, обилием, все еще не решив, с чего начнем — с продажи или с покупки. Хуснибай торговал лоскутом! Лоскут — это не просто мелкие лоскутки, а изрядные, в поло-

вину или три четверти аршина, обрезки ситца, которые зачастую остаются, когда распродан целый кусок материи. Крупные торговцы мануфактурой сбывают их по дешевке коробейникам, а те, разложив в хурджунах так, что свешиваются паружу краешки самых разных узоров и расцветок, разносят по базарам. На лоскут находится много покупателей. Ведь аршин самого дешевого ситца стоит восемь с половиной пакиров — семнадцать копеек! Беднякам это редко по карману. Шить будничную одежду целиком из ситца они не могут, вот и покупают обрезки на рукава и нижнюю часть штанин, видную из-под халата; остальное шьется из буза.

Когда Хуснибай успел заделаться коробейником, мы понять не могли, но ходил он как заправский торговец: оба мешка переметной сумы набиты лоскутом, в руках аршин.

— Кому поплин, кому ситец, кому сатин, кому мадаполам, кому бязь, тик, кому чертову кожу, покупайте, посите на здоровье! — орал он во все горло — и вдруг увидел нас. Он так удивился, словно встретил живых имамов Хасана и Хусана. — Ой, это вы? Откуда вы тут взялись?.. А меня отец хотел послать на базар с хомутами, но я сказал, это мне не под силу. Я уже давно хотел побродить, как мой дядя, коробейник, отец дал денег на лоскут, а тут как раз Саид-Палван ехал на базар, вот я и здесь... Глядите, какой товар, такого не найдешь и в магазине Юсуфа Давыдова! Рубля на три товара! — Он спохватился. — Да, а вы-то что здесь делаете? Ты, Амап, из кишлака идешь? — Тут он вспомнил про мою историю: — А ты — хорош! Учеником к цыганам нанялся, что ли? Где это ты шатаешься уже вторую неделю? Бедная твоя мать, где только тебя не разыскивала! Не сдох бы, если б дал о себе знать! Спасибо, твой дядя приходил и успокоил мать. Сказал, что ты пять дней жил у него, а потом в Капланбек подался, к другому дяде. Мол, до осени поможешь ему в поле... Как же это ты здесь очутился? И дяде наврал? Заглянул бы ненадолго к матери, дурак! А то она все плачет...

— Подзаработаю сначала немножко, одежду справлю, потом вернусь.

— Спра-авишь! Еще и без этой останешься!

— Ну-ну, полегче!.. У меня вон тоже товар есть.

— Ого! Действительно! Где это ты набрал? Воронье гнездо ограбил?

— Ладно, ладно! — вмешался Аман. — Хватит ругаться, и так жарко. Ты лучше расскажи, что в махалле нового?

— Что там может быть нового?.. Хотя, вы же еще не знаете! — Хуснибай оживился. — Там такое было! Бакалейщик Джалил сложил свое сено на крыше мечети, а там пожар начался. Пожарные приезжали, вот было здорово! А еще Пулатходжа стащил у своего брата револьвер и пристрелил собаку сторожа. Миршаб посадил его на сутки, приходили два полицейских и сам Мочалов! Все попрятались по домам, а мы с Салихом подсматривали с балхоны Миразиза-ака. Мочалов говорит (тут Хуснибай стал передразнивать Мочалова): «Ай, ай, жаман, жаман, совсем жаман, тувая Сибирь пойдешь...» А брат Пулатходжи все твердил: «Пожалиска, пожалиска...», сунул порядочно денег, они и ушли. Пулатходжу отпустили, а брат ему давал знаешь как. Только он теперь хвастается, что никого не боится — ни полицейских, ни Мочалова, ни сторожа, слепого Рахима. «Всех, говорит, перестреляю, если захочу!» Мы ему всыпали слегка, а он говорит — я и вас перестрелять могу...

— Ох, задам я ему, когда вернусь, — сказал я.

— Конечно, задашь, — сказал Аман насмешливо. — Только вернись.

— Эй, Хуснибай, — сказал я. — Придешь домой, не забудь передать привет моей матери и сестренкам, скажи, пусть за меня не беспокоятся. Да, постой, этот пятак отдай Юлдашу, я ему должен. Ну, мы пошли по своим делам. Прощай!

— Прощайте! — сказал Хуснибай, и через секунду мы услышали, как он снова заорал: «Кому пошлин, кому ситец...»

Мы с Аманом решили выставить для продажи то, что я выменял на горлинок, и прибавить к этому еще кетмень. Покупателей около нас появилось очень много, и мы подумали было, что товар у нас ходкий. Однако это оказались просто любопытные, — их интересовала даже не цена, а назначение наших вещей, и они высказывали разные остроумные предположения. Помучившись около часа, мы продали наконец кетмень Амана и мою деревянную лопатку. Дело не обошлось без добровольных посредников.

— Ну, по рукам, что ли, — говорили они еще и после того, как мы, проторговавшись с покупателем полчаса,

уже уступили ему: кетмень — за полтинник, а лопатку, по случаю летнего времени, всего за полторы таньги.

Деньги Аман завернул в поясной платок. Теперь надо было избавиться от остального. Игрушечные люльки и трещотку я дал Аману, а сам взял бубен и ободы от решета. Аман завертел трещоткой, а я ударил в бубен, чтобы привлечь покупателей. Нас тотчас окружила толпа таких же, как мы, оборванных ребят, они собрались на бесплатный концерт. Одному худенькому мальчугану ужас как понравилась трещотка. Это был сын дехканива. Аман взял его на крючок и, не допуская возражений, скоро выменял трещотку на два арбуза и дыню. Я подмигнул ему: молодец, дескать, у тебя рука легкая. Вслед за тем мы продали бубен юноше с красивыми усами, который разъезжал по базару на буланой лошади. Он дал таньгу. А потом нашелся и «слепой покупатель» на игрушечные люльки: старенькая казашка, которая принесла на продажу курицу, яйца, курт и пшено.

— Вай-буй, миленькие мои, отдайте мне эти люльки, принесу детишкам с базара подарок, порадуя внучат!

Аман сказал суровым тоном:

— Люльки не продаются отдельно от обода.

— Вай-буй, миленький, что же мне делать с ободом без сита?..

Качая головой, она пошла было прочь, но вернулась:

— Ладно, так и быть, куплю, пусть дети играют. Сколько просите?

Торговались долго, пока остановились на двух десятках яиц, тибетейке пшена и десяти шариках верблюжьего курта. Избавившись от вещей и получив плату, мы почувствовали себя легкими, как птицы.

— Ох, устал я! — потягиваясь, сказал Аман. — Надо перекусить, а?

— Пошли. Что будем есть?

— Главное, чтоб дешево и сытно!

— Тогда просяную похлебку!

За один пакыр мы купили две кукурузные лепешки и пошли в ту сторону, где торгуют горячей пищей. Тут были на выбор шашлык из печенки (печенка, правда, чуточку припахивала, но кто обращает внимание на такие мелочи?), самса с картошкой, лапша, каша из рисовой сечки, затируха, похлебка из пшеницы, похлебка из проса... Целые ведра пищи ждали едоков; едоки, подходя, располагались на корточках, а повара, разливая половником, по-



давали им с легким поклоном похлебку. В иной чашке с лапшой плавало что-нибудь черненькое. «Это что такое — не муха?» — спросит привередливый едок. «Ну уж, муха! Откуда муха в лапше? Лук горелый...» — ответит повар и — раз-раз, пальцы в чашку, вытащит свой «горелый лук» — и в рот... «Пожалуйста, ешьте спокойно».

«Дешево тут, чисто», — подумали мы и тоже взяли по чашке лапши. Чашка стоила три копейки, но мы сторговали две чашки за пять копеек и принялись есть с удвоенным удовольствием. Хорошо! Лапша слегка прокисшая, но с хрустящей кукурузной лепешкой она кажется нам вкусной, как сливки. Аман, высоко подняв чашку, шумно хлебает, втягивая лапшу с таким шипящим звуком, будто рядом потревожили целый выводок змей, я тоже стараюсь, и мы оба то и дело левой рукой смахиваем пот со лба.

Покончив с обедом и закусив одним из арбузов, мы сладко потягиваемся. Яйца, пшено, курт, остатки кукурузной лепешки мы заворачиваем в мой поясной платок. Я беру узелок и дыню, Аман — арбуз. Куда дальше?

Оказалось, у Амана появилась новая мысль. Наши деньги завязаны у него в поясе — там набралась теперь солидная сумма, почти два рубля. И они не дают ему покоя. Правду говорят: жир полезен только барану. У Амана сразу появились замашки байского сынка.

— Идем-ка сходим на скотный базар, — сказал он мне.

— Это еще зачем?

— А я на свою долю куплю барашка и отведу его в город.

— Ты что, спятил? — сказал я. — И самому-то нечего жрать, где уж тебе прокормить барана? Или твой отец только и ждет, чтоб ты ему барана в дом привел?

Но мои слова отскочили от него, как горох от бубна, и он поволок меня на скотный базар. Дыню и арбуз мы оставили у ворот, у сборщика, а узелок взяли с собой, мы его никому не доверяли. Если базар напоминал прихожую Страшного суда, то здесь, на скотном, этот самый Страшный суд и происходил. Не знаю уж, что думала на этот счет бедная скотина, наверно, она тоже полагала, что пришел последний день. С одной стороны отчаянно, без умолку блеяли бараны, связанные по десять одной веревкой, с другой — вопили козы с козлятами. Чуть подальше исходил мычаньем крупный рогатый скот — коровы, телята, телки, быки, волы. Еще дальше — конный базар. Барышники торгуют тут несчастными клячами, выдавая их

за аргамаков, для этого они сперва загоняют их в речку, нещадно стегая; речка течет неподалеку и зовется Загарык. Взад-вперед снуют тьма людей, это большей частью перекупишки; около привязанных животных стоят, переругиваясь, торгуясь или попросту громко разговаривая, продавцы и покупатели. В сторонке — владельцы крупных овечьих отар. Двое из них — ташкентские баи, остальные — казахи, они в кошмовых чекменях, в войлочных шляпах, трясут друг друга за руку, торгуются. Меж ними тоже снуют маклеры, они то и дело подзадоривают: «Покупайте, бай-ота, покупайте!», или: «Продавайте, бай-ота, продавайте, в самый раз!» Глаза у маклеров поблескивают, руки дрожат... Еще бы, тут пахнет поживой, речь идет о сделках на сотни рублей!

Человеческие голоса тонут в мычанье, ржанье, блеянье. Солнце в зените, жара невыносимая, в воздухе нерассеивающейся тучей стоит пыль, острые запахи пота, мочи, помета, шерсти. И посреди всего этого медленно идет водонос с бурдюком за плечами и двумя глиняными чашками в руках:

— Вода, холодная вода! — Это он угощает с богоугодной целью и раздает воду всем, кто хочет пить. Кто желает расплатиться за воду, бросает деньги в глиняную чашку, что в руках водоноса; кто не желает, может не платить, человек с бурдюком на него и не посмотрит.

Вот и еще напиток: двое босопогих мальчуганов, поменьше нас с Аманом, зазывают во весь голос: «Кому холодный айран!» В ведре с айраном плавают кусочки грязного льда. Где только они раздобыли лед?

Мы привыкли уже к сутолоке Битбазара, но этот нас ошеломил. Мы бродили, останавливаясь около торгующихся, рассматривая вместе с ними зубы верблюда, походку и стати лошади, выясняя цену на пегого быка. По-моему, Аман забыл про своего барана. Может, он бы еще о нем и вспомнил, не начнись скандал в восточной части базара. Шум скандала докатывался до нас медленно, как неповоротливый гром перед осенней грозой, и, наконец, докатился.

— Бей его! — завопил кто-то по-казахски.

— Карманщик!

— Вор на базаре!

Залились свистки. Двое полицейских, казах и узбек, побежали туда, переваливаясь на бегу, с саблей в одной руке, поддерживая другою синие суконные штаны. Мы

побежали вслед и сразу же их обогнали. И кого же мы увидели в центре толпы? Не верите? Аман свидетель: по середине стоял отлично известный нам обоим вор из соседней махалли Кугирмач по имени Султан. Но он был здесь в роли не вора, а пострадавшего! Да, да, он возвышался среди толпы, со слезами благородного возмущения на глазах, держа за шиворот какого-то безобидного на вид паренька, похожего на подмастерье.

— Мусульмане! — говорил плачущим голосом Султан и бил себя рукой в грудь. — Когда у меня украли деньги, это все время вертелся около... Я его подозреваю!

Парнишка, белый как полотно, весь дрожал.

— Господи боже, спаси меня от клеветы, господи боже, в какую беду попал... — бормотал он.

— Сколько у тебя денег было? — спросил у Султана подоспевший полицейский-казах.

— Восемь рублей и четыре таньги без одного мири. В кошельке из тика в цветную полоску. Там было еще мое серебряное кольцо с надписью «О,Али». Я бедный сапожник... Приехал купить тощенького барашка, чтоб откормить его к осени!

Тут взгляд Султана, бродивший по толпе, наткнулся на нас с Аманом:

— Вот эти ребята тоже очевидцы!

Аман, стоявший рядом, от неожиданности даже подавился слюной. Он тихонько ойкнул, попятился и исчез за спинами. Я не мог сдвинуться с места.

— А у тебя сколько было денег? — спросил полицейский паренька.

— У меня... тоже кошелек в цветную полоску... А денег... денег восемь рублей и две таньги без одного мири. Я тоже барана приехал покупать, ей-богу!

— Тут не нужны никакие свидетели, — сказал полицейский-узбек. — А ну, пошли оба к аксакалу, там разберемся. Та-алпа! Ра-азойдись!

Они ушли, но я, конечно, за ними не последовал. Я кинулся искать Амана, который исчез, от испуга забыв и про барана, и про меня, и про все на свете. Нашел я его только к вечеру, браня на все корки его трусость. Он еще не пришел в себя от страха.

— Чем кончилось? — спросил он у меня.

— Чем кончилось? Хорошо, что ты удрал, оказалось, ты сообщник карманника, полицейские тебя ищут.

— Нет, правда? Что ж нам теперь делать?

— Что делать, что делать! — передразнил я его. — Ты бы лучше думал, что делать, когда ни с того ни с сего удирать кинулся. Из-за тебя дыня и арбуз так и остались у сборщика!

Аман слегка успокоился.

— А где мы ночевать будем? — спросил он.

Мы побывали в нескольких чайханах. Все было занято торговцами, барышниками, коробейниками, даже присесть негде.

— Куда ж мы пойдём? — снова спросил Аман.

— Не бойся, что-нибудь придумаем... Постои, кажется... кажется, придумал. В прошлом году мой дядя тоже был здесь в базарный день, так он рассказывал, что они не устроились на ночлег в чайхане и нашли какую-то старушку... казашку, что ли... с таким еще смешным именем... А, вспомнил: Яхшикыз!<sup>1</sup> Это где-то недалеко от базара. Она живет в юрте и торгует бузой. Пошли, поищем?

Аман, у которого глаза все еще бегали, как у лисы, гонимой собакой, молча последовал за мной.

## НОЧНАЯ КОМПАНИЯ

Юрту старушки Яхшикыз мы нашли без труда. Она стояла неподалеку, на левом берегу Загарыка. Вокруг юрты чисто подметено, рядом — обширная глиняная супа, застланная грязноватым ковриком. Возле самой юрты вделан в низкий очаг котел без крышки. Тут же стоит большая деревянная маслобойка, а поодаль, на двух рогатинах, воткнутых в землю, натянута веревка, и на ней в кружочках из прутьев висят три или четыре глиняные чашки, наверное, с молоком и сливками, да еще две тыквянки, должно быть, с простоквашей. Тут же прыгает, резвится теленок; старая цестрая дворняжка привязана к полуза-сохшей иве — она встретила нас равнодушным лаем, похожим на перханье. На лай вышла из юрты сама старушка Яхшикыз. Ей лет шестьдесят, поверх нечесаных седоватых волос накинут небольшой цветной платок, закрывающий лоб; старым шерстяным платком она подпоясана, на концах кос висят украшения — пять-шесть серебряных рублей и полтинников.

— Здравствуйте, бабушка!

---

<sup>1</sup> Я х ш и к ы з — значит «хорошая девушка».

Прежде чем ответить на приветствие, она буркнула собаке что-то нечленораздельное, вроде заклинания: «Штч абдрасгур». Собака замолчала. Старуха показала на супу.

— Пожалуйте, молодые люди, садитесь.

Я подмигнул, и Аман протянул старухе наш узелок.

— Гостинцы с базара,— сказал я.

— Не надо, зачем беспокоиться,— сказала она, но узелок взяла и унесла в юрту. Немного погодя она вышла: — Ну, молодые люди, будете пить бузу или мясо приготовить?

— Бабушка, пить не будем, и мясо готовить не надо, лучше поджарьте нам яичницу. У вас можно переночевать?

— У бога просторно, и на небе и на земле,— сказала старуха.— Лето. Где хотите, там и спите. Дадите одну таньгу за двоих.

— Ох, бабушка,— сказал я,— у нас всего-то на двоих полтаньги!

— Хитрые дети у сартов!.. Ну, ладно, переночуйте. Сегодня базарный день, гости придут, байские сыновья, веселье будет на славу...

Она развела огонь под котлом. Мы с Аманом сидели, советуясь, куда держать путь дальше. Скоро старуха принесла нам яичницу на глиняном блюде и две тонкие лепешки из пресного теста, испеченные в котле. Мы принялись за еду. Яичница показалась нам вкусной, и Аман только начал вылизывать блюдо кусочком лепешки, когда к юрте, оглашая окрестность громовым смехом и криками, подошли пять человек. Впереди шагал долговязый парень, неся на левом плече полтуши барана, а в правой руке узел — видно, с лепешками, луком, морковью. За ним следовал другой, похожий на воспитанника медресе, с козлиной бородкой, в грязной чалме. Он ступал осторожно, с почтительно-вежливым выражением па тощем лице. На нем было два легких халата — один снизу, подпоясанный платком, другой надетый поверх. А следом... Следом шел сам Султан-карманник! Штанины подвернуты, поясной платок скручен, как аркан, ворот тикового халата распахнут, край грязной тюбетейки вывернут... а на лице такое наглое, победное выражение, что от него тут же начинает свербеть в животе. Увидев его, я сразу же позабыл про остальных двух; кажется, они были похожи на Султана. Только у одного — это я потом разглядел — бельмо на гла-

зу, а у второго — правое плечо выше левого, так что левая рука кажется длинней...

Когда Аман рассмотрел, кто к нам пожаловал, у него, видно, кусок застрял в горле. Он взглянул на меня вытаращенными глазами, и я сделал знак, что надо освободить супу. Мы отошли к самому берегу Загарыка, под иву, где была привязана дворняжка, но дряхлая собачонка не обращала на окружающий мир никакого внимания.

— Здравствуй, мать! — громко сказал Султан-карманник. — На эту ночь мы твои гости! Слыхала?

Тут он огляделся и сразу заметил нас:

— А-а, жулики! И вы здесь? Вы что тут делаете? А ну-ка, идите сюда!

Нам ничего не оставалось, кроме как вернуться на супу, где уже расселся Султан со своими приятелями. Старуха принесла лепешки, завернутые в грязную скатерть, следом вынесла большую деревянную чашку и спросила Султана:

— Бузу из риса будете пить или из проса?

— Давай ту, что получше!

Старуха ушла в юрту.

— Что это вы делали на скотном базаре? — спросил нас Султан.

Аман смотрел в землю, а я сказал:

— Просто так, Султан-ака... прогуливались.

— Вон как! Самое место для прогулок. — Он прищурился: — А то, может, взять вас к себе в ученики, а? Вы, пожалуй, сойдете! Правда, вот этот, — он показал подбородком на Амана, — вот этот сгодится только, чтоб залезать в дома через крышу. Слишком неуклюж для карманника!

Он засмеялся. Я поспешил воспользоваться этим, чтоб сменить тему:

— Султан-ака, а чем кончился скандал?

— Хо-хо, ты и не знаешь? Веселая история была, а? — Он посмотрел на приятелей, они закивали. — Нынче утром сидим мы в чайхане, я и похвалился, что сумею взять деньги, будучи невиноватым, ну, значит, взять их с согласия хозяина, понял, малыш? Они со мной поспорили — кто проиграет, поит всю компанию бузой. Ну вот, я и пошел на скотный базар. Вижу, идет этот растяпа. Я у него стащил кошелек, сосчитал деньги, добавил от себя две таньги да еще вложил свое серебряное кольцо и сунул ему кошелек обратно в карман. А потом и разыграл ту штуку, которую ты видел! Привели нас к аксакалу, пересчитали деньги,

вышло, конечно, по-моему, ну, мне и отдали кошелек, только взяли полторы таньги магарыча! Ловко, а?

— Ловко...— еле выдавил я из себя.— А что тот... растяпа?

— Ха-ха, посадили его, что ж еще! Ну, не бойся, он недолго сидел, я над ним сжалился, дал полицейскому рубль — взятку и освободил этого дурачка,— сказал, что у меня нет к нему претензий. Ты бы видел, как он обрадовался! Ха-ха-ха... обнимал меня... целовал... хе-хе...

Вся компания захохотала.

— Вы поступили прямо как джигит,— сказал я.

— Еще бы! — Султан глянул на меня краем глаза и усмехнулся.

Старуха уже поставила варить мясо. Голубоватый дымок из очага поднимался в воздух, расстилаясь над нами, как невесомое одеяло. Солнце закатилось, на западе доглевали последние облака, рядом негромко шумела речка. Как было бы хорошо, если б не эта компания! Они, правда, занялись уже собой, позабыв про нас. Султан полулежал на боку, опершись на локоть, долговязый стоял у супы, а похожий на муллу сидел, опустившись на колени, сложив руки на груди, и с видом крайней учтивости слушал, как Султан беседует с долговязым. Двое остальных сидели друг против друга, поджав под себя ноги, и забавлялись, подкидывая спичечную коробку.

Тут старуха принесла и поставила два тыквенных сосуда с бузой и несколько раскрашенных кленовых чашек. Бузу вообще-то пьют подогретой, но та, что принесла старуха, целый день, видно, простояла на солнце, так что подогреть ее было ни к чему. Кроме того, в разливе бузы есть свои правила: разливая, ее непременно процеживают. Долговязый тут же развязал свой поясной платок, встряхнул его, туго натянул на чашку и стал наливать. Потом он попробовал процеженное питье на вкус и протянул чашу Султану.

— Наливай всем,— сказал Султан.

Долговязый налил вторую и третью чаши остальным парням и вопросительно взглянул на Султана.

— Ребят пока оставь, дай домле!

Домла стал деликатно отказываться, отгораживаясь ладонью:

— Что вы, что вы, пейте сами, мы не пьем. Слово аллаха гласит...

— А ну, оставь в покое слова аллаха,— с угрозой в го-

досе сказал Султан. — С каких это пор ты стал непьющим, а? Раньше, небось, напивался допьяна тем, что у нас в чашках оставалось!

— Нет, пьем, но... то есть, то есть... мы зарок дали.

— Заро-ок? А чего стоит твой зарок? Вспомни, кто ты есть! Не вмешайся я прошлой осенью на хлебном базаре у Салара, толпа тебя так бы и прикончила! Нет, подумай, кто ты есть? И в наводчики-то не годишься! Не зря говорят — вор состарится, суфием станет, развратница постареет — начнет злых духов заклинать. Ишь ты, зарок он дал! Может, ты теперь из-за этого ишаном заделался и разъезжаешь в поисках мюридов? А ну, выпей!

Домла взял чашку заметно дрожавшей рукой.

— Согреешь горло — споешь нам альёр. Ну, давай, наследник пророка!

Домла зажмурился и медленно выпедил бузу.

Нас к выпивке особенно не принуждали.

Тыквенные сосуды с бузой подавались один за другим. Подала старуха и шурпу, еще недоваренную. Пьянка разгоралась, домла давно уже размотал свою чалму и подпоясался ею. Он не только не отказывался больше от бузы, но и сам напрашивался на выпивку, пьяным голосом распевая по требованию остальной компании какие-то нелепые песни:

Конь мой скакал у подножья горы,  
долго скакал, пока окошел.  
Много видал храбрецов до поры —  
скачи, мой скакун, я пою альёр!  
Продал за деньги родимую мать,  
где б иначе деньги взять, например?  
Зайца без задних пустил скакать.  
Скачи, мой скакун, я пою альёр!

Девушки в платьях ждут гостей.  
А в платьях тесемок нет, например...  
Пара голубок у них без костей...  
Эй, альерей, я пою альёр,  
скачи, мой скакун, я пою альёр!

Компания между тем пьянела все больше, все говорили одновременно, не слушая других. Я тихонько приподнялся, слез с супы и поманил Амава. Этого никто и не заметил. Мы выпросили у старушки Яхшикыз небольшой палас и подушку и устроились за юртой на ночлег. Но заснуть мы не могли еще долго, хотя устали донельзя. Шум пьянки на супе все разрастался, пришла еще какая-то компания и присоединилась к прежней. Они то принимались



петь хором, то перекрикивали друг друга и смеялись так, что это напоминало давешний скотный базар. Потом, как и днем на базаре, начался скандал. Кого-то били, кто-то зывал о помощи, молился, плакал:

— Клянусь богом, это все, что есть, пусть великий имам меня накажет, если у меня есть еще деньги!

— Поищи-ка в поясе штанов, подлюга!

Грабили домлу. Мы лежали за юртой, дрожа от страха, а привыкшая ко всему старуха, как ни в чем не бывало, ходила среди гостей, убирала посуду, подавала бузу.

Не знаю, когда мы заснули, казалось, этой ночи не будет конца. Проснулся я от толчка в бок. Было еще темно, но край неба уже серел. Надо мной стоял домла. На голове у него снова была чалма, наспех намотанная и еще более грязная, чем вчера, на щеке разлился мощный сияк, один глаз багрово заплыл.

— Вставай-ка, сынок, вставай,— бормотал он,— надо нам бежать, пока они все спят... Видишь, как меня отделали, да и обобрали дочиста, даже на насвай не оставили, как бы и вас такая беда не постигла. Вставай, сынок, скорее...— Он поморщился.— Ох, и трещит голова — как спелый арбуз...

Я разбудил Амана, мы вскочили, ополоснули лица в Загарыке, утерлись полами халатов.

— Куда же вы хотите идти, таксыр? — спросил я домлу шепотом.

— Э, велика обитель всевышнего, мест на земле много, куда ни повернешься — везде кыбла, в любую сторону помолиться можно... Пожалуй... пожалуй, побежим наверх, к холму Кингирак-тепа.

Мы уже пошли прочь от юрты, когда перед нами выросла старушка Яхшикыз.

— А ну, молодцы, куда удираете! Отдавайте-ка деньги! Аман вытащил таньгу:

— Вот, матушка, полтаньги за ночлег, остальное за лепешки и масло для яичницы... Верно?

Она посмотрела на домлу.

— Верно, верно...— сказала она.— Будете здесь — заходите. Счастливого пути!

И мы побежали.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ДОМЛА И ПОКОЙНИК

Мы шли, должно быть, уже часа три, когда добрались до Тепа-Гузара. Было позднее утро. Старик бакалейщик как раз открывал свою лавочку, и мы сделали у него покупки на дорогу: фунт соли, два фунта сушеного урюка, шесть лепешек из кукурузной муки, нитки, иголку да еще две перезрелые дыни. Все это обошлось нам в семь пакиров. Четыре заплатили мы,



остальное — домла. Покосившись на нас, он распорол кромку своего халата и достал деньги: кое-что, значит, у него все же оставалось.

Мы отправились дальше и скоро оказались в зеленой долине. Справа от дороги, у подножия холма, тек прозрачный ручеек. Мы расположились под старым тополем у самой воды, достали кукурузную лепешку, разрезали дыню и стали завтракать. Домла ел дыню и время от времени взглядывал на нас с Аманом.

— Смотрите вы на мой недостойный вид, дети мои, — сказал он наконец, — и знать не знаете, какого человека послала вам судьба. — Он вздохнул и покачал головой. — Ведь не знаете, а?

Аман промолчал, так как рот у него был набит дыней, а я неопределенно хмыкнул, что можно было понять примерно так: знать, дескать, не знаем, но кое-что чувствуем.

— Нет, не знаете,— сказал домла и снова вздохнул, на этот раз печальнее прежнего. Потом он, как бы нехотя, проглотил еще кусок дыни с лепешкой и продолжал: — А ведь я происхожу из старинного и знаменитого рода... Да, да, из самой священной Бухары!.. Правда, мои предки переселились в Ташкент, и весь Ташкент считал себя тогда счастливым! Да, дети мои, деды наши и прадеды были великими ишанами! Что там деды... Мой покойный отец был таким великим человеком, что стоило ему сказать «куф» — и речка начинала течь назад, а если он говорил «суф» — слепой прозревал! Да... Мало было таких, что в него не верили. Несчастливая моя судьба, и зачем он умер так рано?

Тут он снова тяжело вздохнул, потер краем поясного платка угол глаза и с прежним безразличным видом проглотил еще один довольно большой кусок дыни.

— А по материнской линии? Разве по материнской линии мы не были близки к богу? Да моя мать и сейчас славится своей религиозностью! Чего только она не умеет! Девушек привораживать, гадать — и с бубном, и с новой глиняной посудой, которую ставят в тандыр! Нет на свете таких могучих заклинаний, которых бы она не знала! — Тут он проникновенно посмотрел на нас с Аманом.— Дети мои, пусть это послужит вам уроком: я не хотел смолоду учиться у старших, слишком поздно спохватился, и вот к чему это привело! Какие-то негодяи смеют бить меня, потомка великих ишанов!

Он снова полез платком в угол глаза и некоторое время ковырялся там, как бы пытаясь остановить поток слез. Это ему здорово удалось, потому что ни одна слезинка так и не показалась на поверхности. Довольный результатом, он снова посмотрел на нас и сказал торжественно:

— Злая судьба навлекла на меня тяжкие испытания, но теперь я встал на истинный путь, и аллах возвратил мне мудрость моих предков. Я лечу людей заклинаниями и молитвами, а также молитвенной бумагой. Вы знаете, что это такое?

Я-то знал, но Аман почтительно признался, что не знает: слова домлы явно произвели на него впечатление.

— Я пишу молитву на клочке бумаги, а потом ее растирают в воде или чае и дают проглотить больному... Ну вот, кроме того, я знаю немало приворотных и отворотных средств. Поистине, аллах не оставляет своей милостью потомка великих ишанов!

— Вы, верно, учились в медресе, домла? — спросил я.

— Зачем медресе сыну ишанов? Я учился дома. Разве в медресе учат писать амулеты с заклинаниями? А я могу писать не только молитвы, но и великие имена! Вы еще увидите: жители многих кишлаков — мои мюриды. Одни называют меня «ишан-пачча», другие — «коры-ака», третьи — «мулла-ака»... Да, вы ведь еще не знаете, как меня зовут... — Он вобрал воздух, слегка выпучил глаза и выпалил единым духом: — Мулламухаммад Шариф бинни Мулламухаммад Латиф ибни Гавсил агзам!

Он перевел дух с явным удовлетворением, и я увидел, что Аман глядит на него во все глаза, разинув рот. По правде говоря, имя домлы и меня не оставило безучастным, я еще ни разу не слышал такого длинного, но никак не мог забыть вчерашних сцен на супе. Уж слишком подлизывался он к Султану-карманнику.

— Ну вот, — продолжал домла, — теперь вы видите, что сам аллах поставил меня на вашем пути. Если вы будете действовать со мной сообща и называть меня на людях «хазрат», а я вас — своими учениками, то к осени у нас одно станет десятью, наживем добра и за пазуху и в голенища, всего будет вдоволь, ешь — не хочу, да еще и в город вернемся с почестями. Ну что, идет?.. Тогда помните: пока никого нет, можете звать меня «мулла-ака» или «Шарифджан-ака», как хотите. Но при народе — только «хазрат»! Что раздобудем — поделим на четыре части: две мне, по одной вам. А кто отступит от своих обещаний, пусть никогда не сможет повернуться в сторону кыблы! Аминь!

Мы поклялись, повернувшись лицом к кыбле. Потом домла сказал, что пора молиться. Мы стояли на коленях, раскачиваясь, как вдруг увидели столб пыли на дороге. Он приближался, и наконец из него вынырнул силуэт всадника. Мы уже издали увидели, что всадник одет, как дехканин. Полы его халата развевались на ветру, тюрбетейка съехала на затылок. Лошадь была вся в мыле. Всадник еле-еле остановил ее, подскакав к нам.

— Салам алейкум, мулла-ака, куда путь держите?

Мы вежливо ответили на его приветствие, не слишком распространяясь насчет цели своих странствий. Его, впрочем, интересовало совсем другое.

— А не найдется среди вас, — сказал он, — верующий, который знает предписания шариата и умеет совершить омовение покойника?

Домла посмотрел на нас, мы отвесили ему поклон. Потому он важно откашлялся и произнес торжественным тоном:

— Найдется. Чем можем служить? Мы сами — из Ташкента, из рода пшанов, мы — всезнающий мулла, получили образование в медресе. Сейчас каникулы, и мы ходим по кишлакам, подышать свежим воздухом. А это — два наших ученика...

Всадник так и заерзал в седле от радости и еле дождался, пока домла кончит свою торжественную речь. Ей-богу, он так обрадовался, как будто нашел потайной лаз в стене райского сада.

— Вай-буй, таксыры, вай-буй! Сам бог вас послал! Идите скорее!.. — Он стал поворачивать коня и только тут объяснил, в чем дело: — Недалеко отсюда — наше кочевье, мы ведь скотоводы, таксыр, пастухи. Ну вот, один из наших парней приболел и помер, а совершить омовение да зауспокойную молитву над ним прочесть — некому. Мы уж и не знали, что делать... Вай-буй, таксыр, сам бог вас послал... Ну, пошли!

Аман собрал дастархан, всадник слез с коня и усадил в седло домлу. Мы трое пошли пешком. Путь оказался долгим, раза два мы отдыхали. Когда дорога поднялась на холм, мы, наконец, увидели вдалеке кочевье: глинобитную курганчу и несколько юрт около нее.

— Вот оно, кочевье наше! — сказал проводник. — Видите юрты? Скоро доберемся!

Добрались мы к полудню. Это маленькое кочевое племя вообще-то жило далеко отсюда, в глубине степи, там и сейчас находились их семьи и скот. Один из пастухов заболел, а когда стал совсем плох, человек двадцать молодых парней и несколько стариков понесли его сюда — в степи не было никого, кто мог бы совершить над ним обряды. По дороге он умер.

Когда мы подъехали, все поднялись с шумом и приветствовали нас, прижав руки к груди в знак почтения. Домла спросил важно: «Где покойник?» Покойник находился в курганче. Курганча внутри напоминала скотный двор какого-нибудь бая. Крепкие, с редкими отверстиями стены, двустворчатые ворота. Посреди двора чернел небольшой хауз, питаемый, видно, подземными водами; берега его заросли лишайником, да и вода кое-где зацвела. Хауз окружало несколько молодых тополей. Они выросли от пней —

старые тополя давно свалились. Древняя была курганча и жутковатая, в самый раз для мертвеца.

Как вы можете догадаться, ни я, ни Аман покойника ни разу в жизни не обмывали. Я, хоть и не был трусом, мертвецов очень боялся, даже на дохлую кошку старался не смотреть, даром что ребята у нас в махалле таскали их за хвост сколько хочешь. Но домла смело пошел вперед с таким видом, как будто с рождения ничем, кроме омовения трупов, не занимался. На каждом шагу он что-то шептал, то и дело проводил руками по лицу, как бы повторяя короткую молитву, поворачивался в разные стороны, произнося свой «куф-суф». Я-то шел следом за ним и слышал, что вместо заклинаний он бормочет самые обыкновенные слова: «Ох, и жарко... пашлычку бы сейчас, дети мои, и плова... куф-суф! Ой, аллах, пошли денег побольше... куф-суф!» Но издали выглядело это так, словно он в самом деле одним взмахом руки способен справиться с сотней джиннов.

Потом домла подозвал Амана и велел ему попросить материю для савана. Аман попросил принести аршинов шесть буза. Домла снова подозвал Амана, и тот с его слов объявил собравшимся, чтобы все вышли из курганчи, не подходили к ней и, не дай бог, не подглядывали, пока не кончится омовение. Хазрат, мол, сказал, что если кто станет подглядывать, на него ляжет страшный грех и впоследствии он может сам остаться без погребения. Бывает, случаются и другие большие несчастья.

Все вышли, толкаясь. Мы заперли ворота, подтащили валяющуюся во дворе большую каменную глыбу и подперли ненадежные доски. Домла посмотрел на нас, мы на него.

— Что теперь будем делать? — спросил домла. — Приходилось вам обмывать покойника?

— Нет! — сказали мы разом.

— Вот дела! И мне не приходилось. Но я уже договорился с ними за десять целковых! Не совершим омовения — пропали деньги... — Он помолчал секунду и добавил на всякий случай: — Пять рублей возьму я, а вы — по два с полтиной.

— Ладно, — сказал я. — Только омовение будете совершать сами.

Домла покачал головой и боязливо пошел в каморку, где лежал труп. Мы нерешительно двинулись за ним. Покойник лежал навзничь, лицо и живот закрыты старым халатом, ноги обнажены. Домла шагнул вперед — и тут

же подался назад так, что мы с Аманом на него наткнулись. Он едва не выругался, но прикусил язык. Я заметил это, и мне стало еще страшнее: мне подумалось, что в каморке стоит невидимый дух покойника и следит за нами. Сердце у меня в груди стучало часто и громко, как колотушка ночного сторожа.

Аман на цыпочках прошел вперед и заслонил собою труп, но вдруг попятился, издал короткий крик, тотчас оборвавшийся, как будто его схватили за горло, и повалился на пол. Домла отпрянул и прижался у входа, а я в страхе, не в силах двинуться с места, посмотрел на покойника — и заорал не своим голосом. Покойник — ожил! Да, да, ноги его были неподвижны, но он пытался поднять голову, шевеля халатом, покрывавшим лицо! Вот чего испугался Аман — он, видно, потерял сознание от страха...

У меня чуть сердце не разорвалось... Я повернулся, чтобы бежать, но споткнулся о руку Амана, растянувшегося на полу крошечной каморки, и полетел кубарем. Падая, я задел домлу, а так как и он едва держался на ногах, то свалился тоже. Мы барахтались, пытаюсь встать, наконец я кое-как поднялся, протиснулся мимо него в дверь и выскочил во двор. Домла выполз следом на четвереньках. Я обернулся на каморку, ужас охватил меня, и я заорал хриплым отчаянным голосом:

— Люди-и! Эй, люди-и-и!

Услышав мой крик, родичи покойного стали в панике ломиться в ворота, но те, подпертые тяжелой глыбой, не поддавались, а я от страха не соображал, что нужно подойти и отвалить глыбу. Да у меня, наверное, и сил бы не хватило. Домла же подполз к хаузу и без конца совершал омовение вонючей водой. Он был бел, как снег, шептал какие-то молитвы и дул на себя что есть мочи.

Несколько человек перелезли, наконец, через забор курганчи и открыли другим ворота. Едва переводя дух, я рассказал им о случившемся. У них от испуга глаза на лоб полезли. Но они куда больше болели душой за покойника, чем мы, а потому, преодолевая страх, направились к каморке. Я едва заставил себя пойти следом. И вот, когда мы столпились было у входа, навстречу нам кинулось что-то, волоча за собой халат. Все вскрикнули — это был дикий степной кот! Он забрался в каморку и пристроился у головы трупа, а когда мы, войдя, испугали его, попробовал выбраться из-под халата — тут-то нам и показалось, что голова поднимается...

Кот в мгновение ока взлетел на стену и исчез, зацепившийся халат повис на стене, а родичи бедного мертвеца посмотрели друг на друга, на нас — и громко расхохотались. Если судить по домле, вид у нас и впрямь был такой, что, несмотря на траур, удержаться от смеха было трудно. Оглядываясь на нас и все еще посмеиваясь, они снова вышли, а мы с домлой опять заперли ворота и привалили глыбу. Надо было посмотреть, что с Аманом. Он еще не пришел в себя, мы вытащили его из каморки, посадили у хауза и стали брызгать водой в лицо. Тут он очнулся. Домла дул на него, приговаривая: «Вот сейчас... сейчас как рукой снимет... погоди-ка... сейчас». У Амана был такой вид, словно он сам воскрес из мертвых: на иссиня-бледном лице ворочались с бессмысленным выражением глаза, а руки повисли, как сломанные ветки.

— Вставай, вставай! — сказал я. — Очнись! Что ты сидишь, как обмаравшийся младенец? Это же был просто кот! Покойник лежит себе там, мертвый, как бревно!

Аман обрел наконец дар речи.

— Нет, с меня хватит, устраивайтесь сами, — сказал он слабым голосом. Я посмотрел на домлу.

— По шариату требуется совершать омовение втроем, — сказал я. — Ты что, не знаешь?

Кое-как мы его уговорили и помогли встать. Потом, подталкивая один другого, подошли снова к двери каморки и стали по очереди заглядывать внутрь. Наконец я посмотрел на домлу и Амана и сказал:

— Давайте-ка приступим к делу. Надо начинать, а то как бы люди не заждались и не полезли сюда сами... — И так как оба они молчали, я добавил: — Главным гассалом будет хазрат. Мы вдвоем станем лить воду. Если хазрат хорошенько потрет да помоеет тело, это зачтется ему на Страшном суде, а нам и денег не надо, хватит куска материи, которую раздают на похоронах. Так, что ли?

Аман кивнул головой в знак согласия, но домла воспротивился.

— Э, нет, — сказал он, — молодым труд, старикам почет. Это вы будете мыть тело, а я полью воду. Да еще и помолюсь за вас.

— Помолиться мы и сами можем, — сказал я. — А свою молитву вы для себя сберегите. Лучше соглашайтесь, соглашайтесь добром, а то ведь я позову родичей покойника да кое-что им расскажу...

— Точно, — сказал Аман.



Домла посмотрел на нас с бессильной злобой.

— Вот как вы заговорили? Разве сообщники так поступают?.. Ну, ладно, идемте, я беру труп за ноги, вы за голову.

— Ну, нет, таксыр, это мы возьмем за ноги, а вы за голову!

Спорили мы, конечно, шепотом, чтобы нас не услышали снаружи. Если за воротами нас кто и подслушивал, ему, верно, показалось, что мы страстно заклинаем злых духов. Но никто не подслушивал: люди были заняты плетением носилок для покойника.

Мы препирались бы еще долго, если б Аман вдруг не сказал:

— Стойте! Я кое-что придумал. Хорошо бы пайти веревку сажени в две.

— Зачем тебе веревка?

— Говорю же, я кое-что придумал!.. Давай ищи.

Мы обшарили сарай, и в одном из них нашлась веревка почти в три сажени длиной, привязанная к старой кормушке. Мы отвязали ее и пошли к каморке снова. Домла расхаживал около, потирая руки и что-то бормоча. Аман, как видно, был в таком восторге от собственной выдумки, что даже осмелел. Уверенно войдя в каморку, он подозвал домлу и попросил приподнять ноги трупа. Домла поупрямился немного, потом повернулся к покойнику спиной, передернулся весь и взял его ступни, скривив такую рожу, будто проглотил десяток навозных жуков. Аман быстро подsunул веревку, сделал петлю и затянул ее выше щиколоток мертвеца. По команде Амана мы втроем взялись за другой конец веревки и поволокли мертвеца к хаузу.

— Здорово придумал? — сказал Аман у хауза. — Теперь мы его спустим в воду головой вниз, сполоснем раза три, и все! Будет чистый!

— Даст бог! — сказал домла. — И в самом деле будет чистый!

Взявшись за веревку, мы без лишних слов спустили покойника в воду и стали полоскать его, волоча из одного конца хауза в другой. Мы так увлеклись этим занятием, что совершили процедуру не три раза, а раз десять, не меньше. Наконец, мы остановились, в полной уверенности, что любой бывалый гассал не выполнил бы свою задачу лучше. Надо было вытащить мертвеца обратно, и мы начали потихоньку подтягивать веревку, но неожиданно для нас она натянулась — мертвец больше не двигался, слов-

но вдруг прирос ко дну. Мы переглянулись, и Аман снова побледнел. Домла продолжал дергать веревку, приговаривая: «Помоги, господи, помоги, господи...» Я машинально посмотрел на ворота.

— Может, позвать на помощь? — сказал я и сообразил, какую спорил глупость.

— Ты что, не в себе, дурак? — сказал Аман. — Тебе такую помощь окажут! Ту силу, что собирался потратить на крик, приложи лучше к веревке!

Мы снова стали тянуть, опершись ногами о пень тополя, но тут постучали в ворота. Домла бросил веревку.

— Подождите немного! — крикнул он. — Мы еще и до пояса не обмыли! Сами позовем!

Он снова взялся за веревку, мы потянули, но веревка, тронутая молью и подгнившая, с треском оборвалась, и мы, все трое, грохнулись оземь. Между тем мешкать было нельзя, время клонилось к вечеру.

— Таксыр, — сказал я, — раздевайтесь-ка, придется лезть в хауз! Не получать же вам пятерочку даром?

Домла весь позеленел.

— Ах ты, щенок! — сказал он. — Чтоб тебя так же обмывали, да поскорей! И не подумаю раздеваться. Что скажешь, а?

— Скажу, только не вам — пойду к воротам и...

Не дослушав, домла выругался и стал раздеваться. Расхрабренный Аман тоже полез за ним в воду, и они вдвоем стали шарить на дне. Наконец ноги мертвеца показались над водой — голова его застряла в развилке корня тополя. Аман привязал конец нашей веревки к обрывку, оставшемуся на ноге покойника, они с домлой вылезли, и мы принялись тащить снова. Наконец, мы почувствовали, что мертвец подается. Раздался хруст, еще какой-то странный жуткий звук, и покойник выскочил на поверхность. Мы опять повалились на землю, а когда вскочили и глянули, то увидели, что бедный мертвец плавает... без головы!

Мы так и присели от ужаса. Что теперь делать? И тут домла неожиданно проявил настоящий героизм. Он снова полез в хауз, стал шарить руками в воде, среди корней, — и, весь сморщившись, вытащил оторванную голову. Мы с Аманом отвернулись, нас чуть не стошнило, но домла полез в наши пожитки, достал купленные у бакалейщика нитки и иглу, велел нам бытащить тело из хауза — и стал пришивать мертвецу голову!

Он оказался настоящим мастером своего дела: скрутив пилки вшестеро, он шил так быстро и так ловко заделывал шов, что спустя некоторое время голова уже сидела на месте... как пришитая. Теперь я готов был простить ему все. Он приказал нам разложить буз и тут же сметал саван. Тело покойника было прикрыто, но кусок материи оказался мал, ноги остались обнаженными, и на них явственно виднелись ссадины от нашей веревки. Тогда мы быстренько освободили свой дорожный мешок, высыпав его содержимое в поясные платки, мешок надели на ноги покойнику и пришили к савану.

Аман натянул рубаху и штаны, домла тоже оделся, скрутил заново чалму, поправил халат и встал возле покойника, словно на пятничный намаз. Потом он кивнул мне, и я отодвинул глыбу. Родичи бедного мученика уже приготовились к оплакиванию. За воротами стояли только что сплетенные из прутьев и закрепленные на длинных брусьях носилки. Брусья походили на оглобли арбы, в них были впряжены две лошади.

Участники похорон хлынули во двор, окружили покойника и принялись оплакивать беднягу по всем правилам, с приличествующими случаю подвываниями. Некоторые горестно поглаживали саван, а кто-то провел рукой там, где была голова — и вдруг удивленно вскрикнул. Покойник лежал навзничь, но где полагалось быть лицу, оказался затылок!

Я так и замер на месте: домла второпях пришел оторванную голову задом наперед!

Вся орава родичей тотчас перестала выть и столпилась около домлы, подтолкнув к нему и нас.

— Эй, почему у него лицо перевернуто? — спросил кто-то из них.

Домла стоял бледный, но сохранил невозмутимость.

— Такова воля аллаха, — сказал он и с видом печальной покорности судьбе развел руками. — Видно, при жизни числилось за ним немало грехов, вот аллах и перевернул ему голову!

Как ни дрожал я от страха, но все же оценил самообладание домлы и восхитился его находчивостью. Я даже решил было, что беду пронесло, потому что на многих лицах возмущение сменилось растерянностью. Не тут-то было! Эти почерневшие от солнца скотоводы оказались не такими уж легковверными простачками...

— А ну-ка, распорем саван! — крикнул один из них, и вся толпа качнулась обратно к покойнику, не забыв придержать домлу за рукава халата.

Едва распоролл буз, шов на шее, конечно, сразу обнаружился. И тут они завопили все разом с такой силой, что, казалось, стены старой курганчи тут же повалятся. Вся толпа кинулась к домле, нас с Аманом они на мгновение выпустили из виду, мы, забыв со страху все на свете, скользнули у них меж рук и ног и, как лягушки из тины, выпрыгнули прочь со двора. Несколько человек погналось за нами. Но эти пастухи большую часть своей жизни провели в седле и ловкостью в беге не отличались. Тут им было далеко до нас, а скоро стало и впрямь далеко. Но они могли вспомнить о лошадях, тогда бы нам не поздоровилось. В таких случаях лучше всего бежать врассыпную — эту мудрость махаллинских мальчишек я давно усвоил. «Беги налево!» — крикнул я Аману, а сам побежал направо. Преследователи замешкались и стали отставать. Я на бегу подумал о домле — что там с ним стало? Останется жив — найдется, нет — упокой, аллах, его душу...

### ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕГЛЕЦА

Куда побежал Аман, я понятия не имел, я же помчался к видневшимся вдали камышовым зарослям. Чутье меня не подвело, в заросли уходила узкая тропинка. Она привела меня к дренажной канаве. Я прыгнул в канаву, отполз в сторону и затаился. До меня донесся тяжелый топот и полузадохшиеся от бега голоса преследователей. Они пробежали немного в камышах, но решили, видно, что занятие это бесполезное, и повернули обратно...

Топот и голоса стихли вдали, а я из осторожности еще некоторое время лежал неподвижно. Начинало между тем темнеть, и провести ночь в незнакомом месте, где бог знает на кого можно наткнуться, мне вовсе не улыбалось. Я выбрался на тропинку. Она крутилась в камышах, в одном месте под ногой у меня хлюпнуло, и я испугался, что попаду еще, чего доброго, в болото. Но на тропе снова стало сухо, я ощутил, что она едва заметно пошла вверх — и тут камыши неожиданно кончились.

Невдалеке росло несколько деревьев. Я пошел к ним и очутился на дороге. Что это была за дорога, куда она

вела, я, конечно, не знал, только твердо помнил, что мы здесь не проходили. Осмотревшись, я встал спиной к камышам — и пошел в ту сторону, куда оказался лицом. Первое время мне то и дело чудился конский топот, я боязливо оглядывался, но потом решил, что дорога эта вовсе не проходит мимо кочевья. Эта мысль меня успокоила. Я шагал, шагал в темноте, пыль тихонько вздыхала у меня под ногами да звезды светили наверху. Я думал о том, куда мог побежать Аман, не поймали ли его пастухи; судьбу домлы мне страшно было и вообразить.

Не знаю уж, сколько я прошагал, когда впереди показались огоньки. Поначалу я было принял их за звезды где-то над самым горизонтом, но вскоре понял, что ошибка: дорога привела к селению.

Пройдя немного по улице, я увидел освещенный дом, из него доносилось ровное гудение голосов. Это была мечеть, там совершали последнюю вечернюю молитву. Я поспешил туда, тихонько вошел и тоже стал на колени позади молящихся, но тут намаз как раз кончился. Все стали выходить, я остался, прислонясь к стене. Имам и суфи подозрительно оглядели меня (потом я узнал, что в этой мечети украли накануне кошму и молитвенные коврики), и суфи спросил:

— Что, сынок, так долго засиделся? Намаз кончился.

— Атаджан, — сказал я жалобно, — я приезжий, сбился немного с пути, если разрешите, я бы остался в мечети до утра...

Вмешался имам:

— Откуда же ты, сынок?

— Таксыр, я ташкентский!

— О-о, что ж ты делаешь в этих краях? Как ты здесь очутился?

Я вспомнил слова домлы:

— Я учусь в медресе, таксыр, но сейчас каникулы, вот я и отправился по кишлакам в поисках заработка... — Я вздохнул и подумал про себя: «Не пришлось бы и здесь напиматься в гассалы!»

— А в каком медресе ты учился? Кто твой наставник?

Я понял, что влип. Чего в Ташкенте много — так это медресе, кого там хватает, так это мударрисов, но я-то не знал ни одного, а выдумывать было поздно.

— Господин, в том самом большом медресе, которое... А домла наш тот самый... тот самый знаменитый домла...

Имам засмеялся.

— Ну, ну, ученик медресе, я вижу, где ты обучался. Не в медресе, а в школе вражья. Ладно, пойдешь со мной. А как твой желудок? Не плачет?

Я смущенно опустил глаза на молитвенный коврик.

— Понятно... Ну что ж, пошли. Окажи нам небольшую услугу — заработаешь на пропитание.

Я пошел за имамом, гадая, что за услуга от меня потребуется. Впрочем, я больше думал о том, даст ли он мне сперва поесть. Имам вынес два початка кукурузы, испеченных в золе, и немного супа. Я с жадностью ими занялся, а он ушел в ичкари. Немного погодя он вышел. В руках у него был топор, огромный нож и крученая веревка. Увидев это, я прямо задрожал и приготовился бежать, как олень при виде собак.

Имам усмехнулся.

— Ты чего, парень? Не бойся, не зарежу! У меня, видишь ли, бычок объелся и захворал — боюсь, вот-вот сдохнет. Возьми-ка все это с собой, устройся на дворе возле хлева, — вот тебе курпача! — положи топор, нож и веревку под голову и будь начеку. Если услышишь хрип быка, всадишь ему нож в горло и позовешь меня. Понял? Только смотри не проспи, а то он сдохнет поганым по твоей вине!

— Господин! — сказал я. — А чайку не будет?

— Осьмушка чаю стоит пятак, зачем тебе чай, если в арыке полно воды? А коли к арыку идти лень, вон стоит кувшин для умывания, можешь оттуда напиться...

Я не обиделся — очень уж я был рад, что поручение оказалось не слишком трудным. Имам снова ушел в ичкари, а я растянулся на курпаче и стал смотреть в небо. Набегал ветерок, деревья, стоявшие у дома и вдоль дувала, покачивались и шуршали, в хлеву посапывали, изредка ворочаясь, животные. А я уставился на три крупные звезды прямо над собою и боялся отвести взгляд в сторону: мне казалось, я увижу, как подкрадывается ко мне безголовая тень или, еще хуже, смотрит откуда-нибудь из ближних ветвей черная оторванная голова... Была, должно быть, полночь, и лучшего времени, чтоб отомстить за себя, давешний покойник выбрать не мог. Я лежал, весь сжавшись, стараясь занимать как можно меньше места. Но покойник за этот день намучился не меньше меня и, видно, здорово устал. По крайней мере, ко мне он так и не явился. Я заметил, что задремал, только проснувшись от какого-то резкого звука. Приближался рассвет. В хлеву что-то грохнулось оземь и захрипело.

«Вот тебе и на, видно, прозевал я все на свете!» — подумал я и, таща из-под себя запутавшуюся веревку, выругался по адресу быка:

— Чтоб ты сдох!

Но уже на бегу я подумал, что напрасно я так выругался. В темноте хлева барахталась на земле какая-то скотина. Значит, еще жив, подумал я с радостью и, словно бывалый мясник (мы с мальчишками не раз бегали на бойню), протянул левую руку туда, где, по моим расчетам, должны были оказаться рога, а правой замахнулся ножом. Бояться было нечего, ведь бык уже и сам подышал. Свободной рукой я промахнулся и уперся животному в лоб, зато нож с маху попал ему прямо в горло. Кровь так и брызнула струей и облила меня с ног до головы. Бедная скотина в последний раз захыхтела, как труба большой бани, потом захрипела, дернулась — и все смолкло.

Имам велел позвать его, когда быку приспичит, но я отлично справился и сам. До утра оставалось еще время, я решил, что имаму и мне стоит выспаться. Тяжелая забота с меня свалилась, я лег и тут же заснул глубоким, сладким, безмятежным сном. Увы, каково было мое пробуждение!..

Я проснулся от страшного пинка в бок. В испуге, еще не успев сообразить, где я и что со мной, я открыл глаза. Надо мной стоял имам в мешковато висевшей рубаше, и с огромными кусками сухой глины в каждой руке. Лицо у него было перекошено, глаза готовы выскочить из орбит. Не успел я подняться, как он со страшной силой обрушил на мою голову кусок глины. Мне стало ужас как больно и обидно.

— Что вы делаете, таксыр? — закричал я, и слезы полились у меня из глаз. — За что избиваете бедного сироту! За добрую услугу, что ли? Ой, мамочки, вай-вай-вай!..

— Ах ты, проклятый! — завопил имам и обрушил на меня второй ком глины, норовя угодить по голове, но я уже был настороже, и удар пришелся ниже спины. — Ах ты, проклятый! — вопил он, брызжа слюной ярости и давясь собственными словами. — Чтобы ты сдох с твоей доброй услугой! У-у, негодяй, отцу бы твоему такую услугу! Шайтаново отродье, лучше бы ты сам зарезался! Ведь ты моего ишака зарезал!! Ишака! Ишака! Ишака! — И с каждым словом «ишака» он наносил мне такой удар, что я

только взывал от боли, как карнай на свадьбе.— Откуда тебя принесло на мою голову? — Этот роковой вопрос сопровождался новым ударом.— Я же купил этого ишака в священной Бухаре! А-а-а! — Это воспоминание стоило мне еще одного жестокого подзатыльника.— За три золоты-их! — И за эту цену я тоже сполна расплатился.— Ах, какой это был иша-ак, какой иша-ак, ай-йй-йй! — И в знак своего траура он продолжал меня колотить что было силы. А сил у него хватало!..

Нетрудно было понять, что произошло: в темноте я принял катавшего по земле ишака за хворого быка — и перерезал ему горло. А бык тем временем подох своей смертью. Я стал в ужасе озираться, словно мышь, свалившаяся в узкогорлый кувшин с гладкими стенками.

Побоям не предвиделось конца, надо было спасаться бегством. Тут я заметил лестницу, приставленную к крыше хлева. На краю крыши было опрокинуто для сушки седло с подхвостником, принадлежавшее покойному ишаку. Я вынырнул из-под рук имама, кинулся к лестнице и полез по ней на четвереньках, как собака, взбирающаяся по ступеням. Он бросился вслед за мной, но я успел уже влезть на крышу. Я хотел было оттолкнуть ногой лестницу, но тут меня одолело чувство мести, я решил хоть разок вернуть своему мучителю побой. Рывком подняв седло, я швырнул его вниз, целясь в имама. Но и седло, верно, не могло мне простить смерти своего хозяина, ишака. Оно только и дожидалось этого удобного случая. На лету оно заценило меня подхвостником за шею и увлекло за собой вниз. Особого вреда падение мне не причинило — ведь я упал на седло; к тому же я был так избит, что живого места на мне и без того уже не оставалось. Я даже испугаться не успел, как очутился на земле, снова в руках имама.

Если он был в состоянии рассвирепеть еще больше, то, можете мне поверить, он этой возможности не упустил. Схватив веревку, которую дал мне почью стреножить быка, он сложил ее в восемь раз и принялся хлестать меня по чем попало. Наконец и он, видно, выдохся и остановился, отдуваясь.

Я решил не дожидаться приглашения, вскочил и снова кинулся к лестнице. Кое-как вскарабкавшись на крышу, я пустился бежать — на мое счастье, большинство окрестных крыш примыкало друг к другу. Оглянувшись, я увидел, что имам тоже залез наверх и гонится за мной.



Я припустил что было мочи. Дорогу мне преграждали иной раз узкие проулки, но я перелетал через них, как преследуемая курица, и бежал дальше. Имам отставал от меня всего на несколько крыш. К счастью, на бегу у него стали сползать слабо подвязанные штаны, это его стреножило. Когда я снова оглянулся, он бежал уже, как перекормленный гусь, и, наконец, остановился. Но до спасения мне было еще далеко, потому что многие жители поселка, привлеченные шумом нашей скачки, тоже влезли на крыши и появлялись то там, то тут. Вид у меня был достаточно подозрительный: не забудьте, что я весь был забрызган кровью зарезанного ишака, побои и падение мне тоже красоты не добавили, пыль, грязь, кровоподтеки, одежда, висевшая клочьями... Я стал оглядываться во все стороны, выбирая безопасное направление, сделал еще шаг и... провалился куда-то вниз!

Придя в себя, я сообразил, что это был дымоход над тандыром в чьей-то кухне. Дымоход поднимался вертикально вверх, я угодил прямехонько в него и упал в тандыр, где и застрял, свернувшись в клубок, с прижатыми к груди ногами — внутренность у тандыра круглая, как шар. Между тем люди, увидев, что я бесследно исчез у них на глазах, совсем ошалели. Они окончательно убедились, что им являлась нечпстая сила. Не знаю уж, за кого они меня сочли — за ожившего ли мертвеца, за блаженного Ису или за одного из воинов Абдурахмана-пари, приехавшего на побывку с горы Каф,— но только мне было слышно, как они запричитали: «Ох, спаси господи!», «Господи, пронеси!» — и стали спрыгивать с крыш.

Я попробовал освободиться из своего неожиданного заключения — не тут-то было. Левая рука у меня намертво прижата к боку, только правой я кое-как шевелил, да толку от этого было мало, даже когда я после долгих усилий и вовсе освободил правую руку. Распрямиться хоть чуточку я не мог — для этого надо было сначала напроць убраться голову, а она, как я предчувствовал, могла еще мне пригодиться. Не распрямившись, нечего было надеяться вытащить из-под туловища хоть одну ногу и попытаться вылезти. На постороннюю помощь тоже нельзя было рассчитывать, напротив, счастье, что кухня оказалась пустой! Оставалось дожидаться темноты, когда во-круг наверняка никого не будет, и попробовать выломать край тандыра: единственная надежда выбраться.

В кухне уже стемнело (на улице, верно, только еще

смеркалось), когда я — вконец измученный и потеряв терпение, страдая вдобавок от голода и жажды — решил приняться за стенку тандыра. Но тут как раз дверь кухни, в первый раз за день, отворилась, и вошла какая-то женщина. Она развела огонь рядом со мной, в маленьком очаге. Пока она возилась, я достал правой рукой крышку для тандыра, стоявшую около (я заметил ее еще раньше), и закрыл отверстие моей тюрьмы. Женщина ничего не заметила, но я сидел, весь дрожа, задерживая дыхание, с отчаянно бьющимся сердцем. Ей-богу, оно стучало громче, чем стенные часы в доме мануфактурщика Каримакоры из нашей махалли; удивляюсь, как женщина его не услышала. Впрочем, она была занята своим делом, да еще тихонько напевала про себя.

По запахам и звукам я догадался, что она готовит машкичри или что-нибудь в этом роде. Сперва меня пронзил, как стрела, запах жареного лука. Потом в котле зашипело, жарясь, мясо с приправами, и мой волчий аппетит, свернувшийся, как бутон, теперь распустился, словно пышная роза. Однако мне самому эта роза предназначала одни шипы. Потом я услышал, как женщина засыпала в котел маш... Ах, этот проклятый маш, где он только рос, на каких камнях, что столько варился! Черт бы его побрал, он никак не лопался, а женщина, не жалея, подбрасывала и подбрасывала дрова, и жар смежного очага понемногу разогревал мой тандыр. Скоро правый бок у меня начал гореть огнем, и я понял наконец, что чувствует шашлык, когда его жарят! Я так отлежал себе все места, что собственные мои ноги казались мне шашлычными палочками, на которые меня надели. Пожалуй, шашлыкку бывает даже легче, потому что когда у него поджарится один бок, его поворачивают на другой, а уж чего-чего, но повернуться я никак не мог. Жар пронзил меня до самой печенки, я готов был завопить, когда женщина, причмокивая, попробовала варево и сказала сама себе: «Готово».

Я возблагодарил аллаха со слезами на глазах. Женщина выгребла угольки из очага, выложила еду на два больших блюда, потом одно поставила обратно в котел, накрыла и ушла со вторым.

Стенка тандыра стала остывать, огонь в очаге погас, зато в моем желудке он разгорался, как степной костер. Когда женщина ушла, я открыл крышку и вздохнул вольготнее. Потом попробовал дотянуться до котла. Это мне

не удалось. В тревоге и мучениях я стал ждать дальнейших событий.

Наконец дверь кухни снова скрипнула, вошел кто-то и на дыпочках направился к тандыру. Я замер. Однако вошедший (это был мужчина) мирно уселся на тандыр и стал насвистывать какую-то мелодию.

Музыка — вещь хорошая, не спорю. Я сам люблю музыку, особенно после сытной еды. Иной раз и самому спеть хочется — когда едешь по махалле верхом на чужой спине. И посвистеть иногда полезно, — например, если надо вызвать товарища, которого мать загнала домой нянчить младших ребятшек. Но сами посудите, каково слушать чей-то нахальный свист, когда кишки твои и без того играют от пустоты, как целый оркестр на военном параде, да еще вдобавок этот самый проклятый свистун сидит у тебя, можно сказать, на голове и болтает ногами перед твоим носом!..

Немного погодя вошла женщина, — я узнал ее по шагам. Она тоже направилась к тандыру, и на расстоянии аршина над моей головой я услышал чмоканье. Надо думать, они поцеловались.

— Не заждались? — спросила женщина таким сладким голосом, что если положить его в нишалду, сахару бы уже не понадобилось. — А муж мой, — продолжала она, и голос у нее сразу изменился, точно в шербет долили супу, — муж мой, будь он неладен, расселся с долговыми книгами, будто другого времени ему нет! Сел со счетами и давай пересчитывать, я уж думала, конца этому не будет! Еле его усыпила, да и...

— Ну ничего, душенька, — прервал ее парень. — Ты только смотри, не подозревает он нас с тобой, а? Может, ты проговоришься? Сегодня я приходил к нему в лавку, купить насвая на три копейки — так что ты думаешь: как глянет на меня волком, а насвая насыпал так мало, что табакерка и до середины не наполнилась! А всюду мне на три копейки доверху ее насыпают.

— Нет, это он вообще жадный, как цепной пес, такой скряга, вы и не поверите! Ему бы только деньги да деньги, — сказала женщина. — На меня внимания не обращает, есть у него жена или нет, ему все равно...

— Ну, ладно, черт с ним. Поесть у тебя чего-нибудь найдется?

Стоящий парень, подумал я с острой завистью, знает, что для мужчины главное. Женщина засуетилась, открыла

котел и, словно рыбу на беленьком блюде, вытащила машинчири.

Парень так и накинулся на еду. При этом он слез с тандыра и встал на колени перед очагом. Блюдо оказалось прямо передо мной. Парень знай себе наворачивал да наворачивал, а женщина только клевала понемногу, как курица, подвигая парню куски мяса и говоря ему разные ласковые слова. Парень отвечал односложно, рот у него был занят.

Я почувствовал, что больше не могу этого вынести — высунул руку из тандыра и запустил ее в блюдо. Парень в этот момент смотрел на женщину, она на него — и давно. Я беззвучно, давясь от жадности, проглотил свою добычу и протянул руку снова. Этого опять никто не заметил, но блюдо начало пустеть. Парень, хоть и без того занимался двумя делами сразу, краем глаза, должно быть, что-то уловил и тревожно сказал женщине:

— Эй, послушай, где твоя рука?

— Вот! — сказала женщина с готовностью.

Парень огляделся, но, конечно, в темноте ничего не увидел. Я затаился. Парень продолжал есть еще быстрее. Я понял, что на блюде вот-вот ничего не останется, и, уловив секунду, когда они занялись разговором, полез в блюдо снова. Но парень был начеку. Он схватил мою руку и зашипел:

— Эй, погоди! Чья это рука? А ну! Это моя, эта твоя, а это чья?

Женщина тихонько взвизгнула, хотя испугалась, видно, здорово. Не будь у них своих делишек, мне стоило бы уже прочесть над собой заупокойную молитву. Но сейчас я даже почти не испугался. Парень дернул мою руку и стал тащить меня из тандыра. Было больно, но я молчал, наступало, наконец, желанное избавление. Позвоночник мой пару раз громко хрустнул, отвалился кусок стенки тандыра, и я оказался на воле, едва держась на одеревеневших ногах. Если бы этот парень еще и растер мне ноги!

— Спички есть? — спросил он женщину, не выпуская моей руки.

Она дрожащими руками ощупала свою безрукавку, нашла спички, чиркнула — и тут же с криком уронила огонь. Я думаю, если бы они встретили меня днем, и то было бы чего испугаться. А тут в темноте их должен был охватить настоящий ужас. Лохмотья мои в засохшей крови и грязи, весь я к тому же еще в саже, черный, как

негр, — если злые духи выглядят иначе, тогда уж и не знаю, как их себе вообразить. У женщины зубы так и стучали от страха, но парень оказался храброго десятка. Он взял у женщины спички и зажег.

— Ты кто такой? — спросил он.

Я решил, что терять мне нечего.

— А ты кто такой? — спросил я в ответ.

— Я тебя спрашиваю!

— А я тебя спрашиваю!

— Слушай, парень, у тебя надежда на жизнь еще есть?

— А у тебя — есть надежда на жизнь?

— О, господи!

— О, господи!

В разговор вмешалась женщина.

— Послушай, голубчик, — сказала она дрожащим голосом, — кто же ты, в конце концов, такой и что ты делал в тандыре? Может, ты... злой дух? Или... сумасшедший? Ты не сердись, но зачем ты в темную ночь залез в чужой очаг?

— А он зачем залез ночью в чужой очаг? А?

Тут я увидел, что парень бросил спички и засучивает рукава так решительно, как это делает мясник, когда ему подводят скотину, предназначенную на убой. Тогда я пустил в ход свой старый прием:

— Ка-ра-у...

Но женщина сразу зажала мне рукой рот:

— Эй, что ты хочешь делать?

— Что мне делать, кричу «караул».

Тогда парень решил заключить перемирие:

— Ну ладно, уходи по-хорошему. Ступай отсюда!

— Куда мне идти? Я есть хочу.

— Вот навязался, — сказал парень, а женщина, не говоря ни слова, на цыпочках вышла из кухни, почти тут же вернулась и принесла мне две тощенькие лепешки со шкварками. Я сунул лепешки под мышку. — Ну, теперь убирайся, — сказал парень.

— Э, нет, гони-ка сперва немного денег!

Он так запыхтел в темноте, что я думал, он тут же лопнет от злости. Потом он негромко, но длинно выругался — видно было, что он вложил в это ругательство всю душу. Наконец, он полез в карман и выгреб то, что там было. Ну, я не стал пересчитывать — взял и спрятал деньги. Только после этого я, наконец, смиловился.

Женщина выпроводила меня со двора, сперва трижды взяв клятву, что все останется шито-крыто. Я это ей искренне обещал. За воротами, отойдя немного, я первым делом съел лепешки со шкварками. Потом пошел по темной улице. Я ведь знать не знал, где нахожусь. Улица вывела меня на другую, та — на широкую площадь.

Площадь, судя по всему, служила базаром, но сейчас она была пуста, как степь. Я пристроился в каком-то углу, положил под голову два кирпича и тотчас уснул, словно провалился в яму...

Ох, в этом проклятом городке мне суждены были одни несчастья! Сейчас даже не верится, сколько бед там на меня свалилось за каких-нибудь два дня! Словом, я опять проснулся от пинка...

Было утро, меня окружали какие-то люди с палками в руках.

— Это он! — крикнул один.

— Точно, он!

Чей-то голос вставил с сомнением:

— Уж больно мал!

— Да ты на него посмотри! Он и есть!

Я спросил, чуть не плача:

— Кто — он?

Меня снова пнули ногой и велели вставать. Я еле поднялся, все тело у меня ныло и, казалось, вот-вот развалится на кусочки. Мне связали руки за спиной и повели по базару, размахивая над моей головой палками и кнутовищами. Кто-то сзади приказал мне:

— Кричи: «Позор мне, я убил человека»!

Я заплакал в голос:

— Никого я не убивал!

Между тем народ сбегался, а двое мальчишек, собирая толпу, выбивали дробь на такой маленькой штуке, вроде барабана. Я чувствовал, что сейчас потеряю сознание. Вдруг из толпы вышел какой-то человек в пестром халате, в чустской тюбетейке на бритой голове.

— Мусульмане! — сказал он. — Неужели вы думаете, что такой маленький мальчик мог убить такого огромного мужчину, как тот приезжий бай? Да еще где — в чайхане! Мал он еще! А если б он был соучастником, его бы не оставили здесь в таком виде...

Толпа одобрительно заворчала. Те, кто держал меня, хранили молчание.

— А что у него такой вид, — продолжал человек в пест-

ром халате,— так сразу ясно: мальчишка больной, припадочный. Видно, в припадке он так и разбился... Какой же вор возьмет такого в помощники? И у вора есть свои тайны! Кому охота доверять их полоумному мальчишке! Верно я говорю, мусульмане?

— Верно! Верно! — закричали в толпе. — Отпустить мальчишку!

Тут в круг выбрался еще кто-то, лица его я не разобрал: глаза мои застлало слезами, бежавшими сами по себе. Я и не плакал по-настоящему.

— Да я знаю, кто этот мальчишка! — кричал новый оратор. — Это сын Ашура-мясника! В прошлый базарный день Ашур говорил, что его сын убежал из дому!

— Правильно! И я слышал, — на базаре глашатай объявлял, что пропал мальчик четырнадцати лет!

— Отпустить его!

Я почувствовал, что державшие меня за плечи руки разжались, и мешком свалился на землю...



## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### СЕМЬДЕСЯТ ОДИН РАЙ

Сам я — в полном здравии. Руки — в полном моем распоряжении. Ноги меня слушаются. Глаза повинуются моей воле: не хочу — и не смотрю на всякие уродства. Челюсти мои и зубы — как соломорезка: перемалывают любую еду. Но один непослушный орган все-таки есть в моем теле, и над ним я никак не могу взять верх. Власть моя на него



не распространяется — подчас он бесчинствует внутри моих владений, точно целая шайка бандитов. Я усмиряю его, как могу, посылаю полчища благоразумных мыслей, но они разбегаются, еще не добравшись до места назначения. А этот проклятый бунтовщик нагло требует дани: можешь не можешь, есть у тебя или нет — накорми его!

Ибо это — желудок.

Вы не знали? Тогда запомните и держитесь начеку. С желудком шутки плохи. Если он разойдется и не получит того, что требует, он и вовсе свергнет вашу верховную власть. Тут уж он овладеет всем царством. И — пиши пропало все: порядок, спокойствие, правила приличий. Ибо командуете уже не вы, а он. Все слушает уже не ваших — его приказаний. Глаза начинают смотреть на не дозволенные шариятом вещи, руки алчно тянутся к нечестно добытым кускам, ноги ведут в самые неожиданные места, голова склоняется перед подлыми людьми...



И я, заливаясь слезами, как весенняя туча, пою какую-то песню, какую-то бестолковую газель, которую бог знает кто придумал, бог знает кто спел в первый раз, может, и я сам, знать того не знаю, ведать не ведаю...

Увы, из этих черных глаз всегда печаль струится, ненастным видят мир они сквозь слезы на ресницах. Весь век скитаюсь и томлюсь в надежде на отраду, мне до утра земля — постель, подушка — черепица. О сердце, полно тосковать, и твой рассвет пастанет, не вечно будет скрыт рубин в земле, немой темнице. Ну, а покуда падо мной крутится тяжкий жернов — и ради хлеба должен я, как жернов тот, крутиться...

«Ладно, — говорю я себе, — оставь-ка ты эти печальные раздумья, иди лучше к речке, помойся, приведи себя немного в порядок». И я выполняю этот дружеский совет: иду к реке, нахожу укромное местечко, раздеваюсь. Надо почистить щавелем штаны, рубашку, поясной платок, выстирать их как следует — одного раза мало! — и развесить для сушки на ветках тала. А потом и самому спуститься в воду, поплескаться, смыть с себя всю грязь, а с нею — и все дурные воспоминания, все беды, какие выпали на мою долю за последние дни. А бед было куда больше, чем дней, больше, чем пролитых слез, разве что по одной на каждую слезу.

На все это уходит времени не меньше, чем на приготовление плова, а ведь аппетит тем временем разгорается. Тут пора надеть выстиранную одежду, разгладить ее на себе руками, принять опрятный вид и вспомнить, что из всех несчастий вынес ты и чуточку пользы: ту кучку мелочи, которую с такой охотой пожертвовал тебе на бедность влюбленный парень в чужой кухне. Нет, она не пропала, слава богу — немножко серебра, немножко меди, без малого две таньги. Что ж, это неплохой капитал для начала, многие начинали и с меньшим, правда, они с тем и остались, ну да бог с ними. Можно идти на базар и там наесться вволю, что купить, что выклянчить, что выторговать. Не сплутуешь — не поешь.

А на базарной площади, хоть день и не базарный, всю идет купля-продажа. Блеют бараны, ржут лошади, ревут верблюды, торговцы бранятся, да мелькают руки маклеров, твердящих свое обычное: «Ну, по рукам!» И среди этого гама и толкотни я брожу в растерянности, как муравей, застигнутый ливнем, то и дело ожидая, по недав-

ней привычке, пинка откуда-нибудь — справа, слева или сзади.

Вдруг на базаре начинается странная суета, движение, которое кругами устремляется в одну сторону: из города к базару идет процессия. Семь каландаров движутся один за другим, одетые в рубища «мухаммадий», которые сшиты из нескольких кусков материи разного цвета. На головах у них — дервишеские шапки «ахмадий», из-под которых спускаются до пояса черные и седые пряди взлохмаченных волос; на плечах — мантии «мустафа». Они идут под горячим солнцем и поют, исступленно поют, а на губах у них выступает пена, словно у опьяневших верблюдов:

О-о!  
День базарный, шумит народ,  
сквозь гомон слышен плач сирот,  
ё аллах дуст, ё аллах,  
хак дуст, ё аллах.  
Спроси о судьбах детей беды —  
нету отца у сироты,  
ё аллах дуст, ё аллах,  
хак дуст, ё аллах.  
О-о-о!..

Впереди идет благообразный каландар с широкой бородой, похожей на лезвие кетменя. Это — главный каландар; на плече у него — медный сосуд, издали напоминающий огромного черного с отливом жука, в руке трость из крепкоствольного кустарника, увешанная разноцветными лоскутками. Нам еще предстоит познакомиться с нею поближе, и мы узнаем поразительную вещь: трость эта приходится двоюродной сестрой посоху пророка Мухаммеда! Но верующим вокруг, как видно, давно уже известна эта новость, и они целуют трость со слезами на глазах, когда удается к ней пробиться, и с надеждой привязывают к ней новый цветной лоскуток.

Главному каландару, несущему трость, вручаются при этом подаяния: черный медный жук на плече для них и предназначен. Туда складывают деньги. Остальное, например, лепешки, принимают каландары, идущие сзади. О, подаяние — это тонкая вещь, тут опасно попасть впросак! Ведь когда главный каландар представляет святого Бахауддина, ему причитается семь лепешек, а когда он выступает как уполномоченный святого Гавсулагзама — лепешек требуется уже одиннадцать. Не приведи господи принять Гавсулагзама за Бахауддина — святой обидится, и

тогда все затраты к черту. На небе за ценой следят строже, чем на базаре.

Кто особо нуждается в помощи или прощении святых, тот и раскошеляется соответственно: преподносит курицу, козу, барана или даже верблюда. На этот случай позади каландаров шествуют слуги, ялавкаши: они собирают подаяния, складывают их в арбу с плетеным кузовом или привязывают сзади; иногда позади собирается целое стадо, разнокалиберное, как передвижной зверинец...

Нет, подарком нынче на базаре такой переполох — каландары прибыли из обители самого святого ишана, не употребляющего мяса. А ведь, говорят, обитель эту по почам посещает Джабраил и приносит распоряжения непосредственно от аллаха, так что работает ишан с господом в паре, и все, что подносится ему, попадает наполовину и ко всевышнему! Как же тут не воспользоваться такой удобной оказией и не переслать аллаху свой маленький подарок, за который есть надежда получить потом вдесятеро, если не больше? Сделка первый сорт, и все торопятся не упустить случая, пробиваются что есть сил, кидаются прямо под лошадь городского, который едет впереди каландаров и расчищает им дорогу, размахивая плеткой, — тучный, толще собственной лошади, с торчащими усами, похожими на веревку в зубах у собаки, с огромной саблей на боку. Сабля свисает почти до земли, болтается, и сразу даже не поймешь, к чьему боку она приторочена — лошади или городского.

Представьте теперь, как обидно глядеть на все это, на такую блестящую возможность, и не иметь даже самого маленького капитала, чтобы вступить в сделку, даже какой-нибудь чепухи для подарка, лоскутка приличного, чтобы повесить на священную трость!.. Слезы досады выступили на моих глазах, но тут словно свет пролился в мою душу, и по всему телу, размякшему, как нагретый воск, пробежала трепетная волна. Я кинулся в толпу, отчаянно пробиваясь к главному каландару, пролез-таки, проскользнул между взрослыми и оказался вдруг около самой трости, схватил державшую ее руку и заплакал, упав на колени. Главный каландар остановился, поднял меня, погладил по голове и спросил ласково:

— Чего ты хочешь, дитя мое? Скажи, и я попрошу аллаха!

И тогда я заплетающимся языком изложил свою нижайшую просьбу, чтобы и меня сделали звеном этой бо-

жественной цепи — зачислили в ученики к святым дервишам! О, какой поднялся шум, вой, плач в окружавшей толпе, которая услышала мои слова! Ведь когда главный каландар остановился, вокруг воцарилось благоговейное молчание. Как запричитали дехкане и женщины, когда глава священной процессии, подняв обе руки, благословил меня! Трудно и передать!

А я-то! С этой минуты я уже не простой смертный, не обычный земной страдалец — я назначен на один из постов в самом судилище аллаха! Мне еще не пришлось потрудиться на этом ответственном посту, но я уже заранее чувствую, что служба мне по душе, потому что, видится мне, еды и питья будет вдоволь, а все обязанности сводятся, похоже, лишь к тому, чтобы выучить хорошенько «Ё аллах дуст, ё аллах», да и распевать с пеной на устах. Ах, недаром говорят: песня кормит. И я чувствую, что прямо-таки теряю рассудок от счастья. Я иду шагах в десяти впереди каландаров с непокрытой головой и пою, гпусая, сколько хватает моих слабых сил:

О-о-о!..  
Копытом тоная, конь идет,  
ё аллах дуст, ё аллах.  
Эй, выходи и смотри, народ,  
ё аллах дуст, ё аллах.  
Если спросишь, в кого влюблен,  
ё аллах дуст, ё аллах,  
скажу: в красавицу Зебихон,  
ё аллах дуст, ё аллах,  
как дуст, ё аллах.  
О-о-о!..

И, видя меня, юродивого мальчугана, на глазах у всех отрекшегося от земной жизни — грустной и веселой жизни, полной всяческих проделок и несчастных бедствий, — у базарного люда прокатывается по сердцам новая волна преклонения перед силой аллаха и его слуг, и приношения сыплются градом...

Вечером мы усаживаемся по двое на верблюдов — погонщики привозили на базар солому для продажи и теперь возвращаются обратно — и отправляемся в Ишан-базар, обиталище почтеннейшего ишана. Уже по мере приближения к нему возрастает атмосфера святости, точно воздух наполняется неслышным пением ангелов. И недаром: обитель считается чуть ли не Каабой для Ташкентской, Чимкентской и Сайрамской областей, и если все эти

города освещаются лучами, идущими с неба, то Ишанбазар сам освещает небо своим сиянием.

Доехав, мы слезли с верблюдов, сгрузили вещи, а главный каландар вместо платы за проезд прочел короткую молитву, благословляя погонщиков. Говорят, в иных местах за каждое такое благословение отдают целого верблюда, так что выгоды, выпавшие на долю погонщиков, трудно было и подсчитать.

Дом ишана примыкал к молельне, где он вместе с суффи занимался радением. Тут же находилась и обитель каландаров. Сначала мы вошли в молельню, и главный каландар пропел у входа короткую молитву, чтобы почтеннейший узнал о нашем приходе. Потом каландары уселись на айване в круг, я же, их покорный ученик, остался в прихожей, где обычно снимают обувь, и стоял, смиренно сложив руки на груди, в полупоклоне, готовый к услугам.

Пение между тем продолжалось, а суффи размещали привезенные нами подавания и провизию в маленькой комнате, которая имела две двери: одну в молельню, другую — в гарем ишана.

Наконец пение оборвалось, и из глубины молельни, кокетливо ступая по земле и поглядывая на нее с таким видом, словно говорил: «Ступить-то я, так и быть, ступлю, но ты должна быть мне вечно благодарна», — вышел почтеннейший ишан. По его собственному заверению, — а кому же знать, как не ему? — это был правнук Айши-Нубаро, девятой жены пророка Мухаммеда. Он одет в длинный светло-желтый халат, на голове белоснежная чалма, на ногах — изящные кавуши из сагры, в руках — четки, не меньше чем в тысячу костяшек. Глаза подведены сурьмой, длинная борода с проседью расчесана и уложена так, что каждый волосок можно положить в отдельный чехольчик, а от красивых усов цвета нечищенного серебра и от красных щек струится поистине лучезарный свет.

Не знаю, как кто, — видели это другие неискупенные люди или нет, — но я узрел собственными глазами полторы тысячи ангелов, что сопровождали его с обеих сторон. Все мы встали и отвесили ему земные поклоны. Почтеннейший, напомнив о повелении аллаха творить добрые дела, спросил о приходе Мункара и Накира (это ангелы, подвергающие покойника в могиле предварительному допросу), и глава каландаров в ответ высыпал в подол ишану все деньги из своего медного жука. Там были и медя-

ки, и серебро, и бумажные деньги. Почтеннейший легким движением отправил в рукав халата бумажки и целковые и сказал:

— О-о, пусть руки мои не коснутся грязи богатства, деньги, дети мои, это нечистоты, охотятся за ними только собаки! — И он отодвинул мелкое серебро и медяки каландарам. Тут взор его остановился на мне, и он произнес очень ласково: — Кто это дитя?

Главный каландар так хорошо рассказывал обо мне, что, находясь мы сейчас у райских врат, меня тут же впустили бы. Этот мальчик, говорил он, пока допивал первый чайник зеленого чая, настоящий каландар Машраб, отрешившись от земной жизни ради вечной и одержимый высшим экстазом. Особенно он распространялся насчет моего экстаза, сказав, что тот превыше всяких похвал и не каждый бывалый каландар может впасть в нечто подобное. Тогда почтеннейший ишан указательным пальцем поманил меня к себе, сделав тем самым величайшее снисхождение. Я снова низко поклонился и подошел, и он своей благословенной рукой погладил меня по голове.

— Ну и ну! — сказал он. — Вот ты какой счастливец, оказывается! Удостоен внимания самого аллаха! Посмотри же на небо, сын мой!..

И тогда сквозь его пальцы я увидел семьдесят один рай...

Церемония кончилась поздно, и, лежа в одиночестве в углу молельни, среди груды лохмотьев, я долго не мог уснуть. Не могу сказать, чтобы мой желудок удостоился такой же благодати, как я сам, но, в общем, обошлись с ним сносно. Во всяком случае, он помалкивал, и в голове у меня вертелись мысли обо всяких вещах, близких к райскому блаженству. Например, о том, нет ли в худжре для подающей третьей двери; и о том, что ел сегодня ишан на обед — манты или плов; и у которой из жен он сегодня находится; и стоит ли у его изголовья чайник с холодным зеленым чаем, который так полезен, когда ночью захочется пить.

Уснув, я увидел себя не в раю, не в аду, а все в той же молельне. Там было холодно и стояла полная тишина. Я лежал и ежился от забегавшего ветерка, как вдруг в молельню вошла дрожащая от холода собака и стала жалобно скулить. Мне очень хотелось ее утешить, но я никак не мог встать на ноги и подойти к ней, потому что я сам и был этой скулящей собакой. Так я долго мучился от

жалости к самому себе и впрямь тихонько скулил во сне, пока утром меня не разбудили суфи.

В моленные готовилось радение, собирались люди и становились в большой круг. Я кое-как совершил омовение и тоже к ним присоединился. У кого были четки, тот лихорадочно перебирал костяшки, остальные озирались, мелко дрожая от волнения, или стояли, тупо уставившись в одну точку. Тут были женщины, дети, старики, понурые мужчины — подслеповатые и полупарализованные, бездетные или безденежные, должники или отпущенные на поруки подсудимые. И все они, едва появился ишан, начали вопить громким нестройным хором, прося помощи или избавления от беды. Ишан, приговаривая что-то, стал дуть в их кувшины для омовения, в чайники и прочую посуду с водой.

После совершения намаза я позавтракал вместе с каландарами. Ишан приказал им отправляться на базар в Назарбек, и я приготовился было их сопровождать, но почтеннейший сказал:

— Ты останься, сынок. Ты, видно, проворный мальчик, найдется тебе здесь работа и в ичкари, и в ташкари...

Конечно, я не посмел возразить, но очень расстроился. Упустить такое прекрасное, прибыльное путешествие! Сколько можно добра перехватить на базаре, находясь в процессии каландаров! И уж во всяком случае, это куда приятней, чем снова везд-вперед между внутренней и наружной половинами дома, как челнок под руками у ткача. Устанешь до упаду, да еще будешь помирать со скуки, вместо того чтобы добывать деньги песнями!..

После ухода каландаров ишан милостиво пригласил меня в свою худжру.

— Что прикажете, о мудрейший мой наставник? — спросил я, войдя, тонким голоском и с видом величайшей готовности к услугам. Он взял меня за руку и велел сесть на белую циновку. Я опустил на колени. Ишан достал из ниши Коран в толстом кожаном переплете и дал мне. Я трижды поцеловал переплет и приложил книгу ко лбу. Ишан прикрыл глаза и, прошептав молитву, приказал повторять за ним: «Я, сын такого-то, преданный мюрид почтеннейшего ишана, все поручения моего духовного наставника буду выполнять беспрекословно. Не отступлю от его приказаний, даже если над моей головой занесут меч. Ничем не буду злоупотреблять. Как родную мать, стану уважать каждую из четырех жен моего духовного настав-

ника. Не буду на них заглядываться. Не разглашу никому ни единой тайны, услышанной мной в этом доме. И пусть я ослепну, пусть разобьет меня паралич, пусть я покроюсь пузырями и умру на месте, если решу эту тайну нарушить! Амины!»

Договорив это вместе с ишаном до конца, я сообразил, что принес только что страшную клятву. Я испугался, но делать было нечего: слов обратно не вернешь! И с того самого момента я начал — час за часом, день за днем — бегать между ичкари и ташкари, точно иглолка от стежка к стежку, не смея и передохнуть толком. Ох, и до чего же обманчивы человеческие надежды!

Так ношусь я, выполняя любые поручения, всякую работу, но в одном сбивает меня с пути праведного проклятый шайтан. Младшая жена почтеннейшего, молоденькая, лет семнадцати, до того красива — как расписная деревянная ложка, ей-богу! Меня так и тянет посмотреть на нее, так и тянет, и я нет-нет да и взгляну краешком глаза, но тут же вспоминаю белую циновку и как я Коран целовал, и мне сразу становится не по себе, точно враг человеческий уже подцепил меня на крючок, как жадную рыбку. И снова я бегаю взад-вперед и напеваю потихоньку:

Стройна красавица Зебихон,  
ё аллах дуст, ё аллах...

Дни идут за днями, и однажды ишан снова зовет меня в худжру.

— Сын мой,— говорит он мне ласково,— много труда положил ты на нас! Ты теперь знаешь все дела нашего дома... И сам видишь, сколько человек я должен содержать: жены, дети, суфи, слуги, батраки! Их кормить надо, одевать... Если рассчитывать только на подавания, мы все с голоду помрем, верно? Ты парень проворный, ловкий. Я тебя испытал. В наши тайны ты посвящен. Не зевай, сынок, пора тебе тоже добывать деньги... Каким-нибудь другим путем... Кроме сбора подаваний...

Ну и задал он мне загадку! Что означает этот «другой путь»? Я подумал-подумал, и на лице у меня, видно, отразилось все мое недоумение, потому что ишан стал объяснять мне — обиняком, намеками, — пока наконец я не уразумел смысл его слов. «Вот оно что»,— подумал я и сказал вслух:

— Ладно, господин! Повинуюсь. Я готов жертвовать собой ради своего наставника...



Ишан довольно ухмыльнулся, похлопал меня по плечу и благословил. Глаза у него при этом сделались хитрые-прехитрые... А я почувствовал в себе должную храбрость.

Тут ишан быстро встал с места, сказал мне: «Подожди немножко!» — и ушел в ичкари, откуда скоро вернулся с узелком, связанным из платка. В узелке были старые штаны, рубашка, тубетейка и поясной платок из набивного ситца.

— Вот, дитя мое, на, одень эти вещи. Это одежда моего покойного сына Миянкудрата, что утонул прошлым летом в хаузе. Прочти ему зауспокойную молитву...

— Аминь, царствие ему небесное...

— Даи боже...

Я стал думать, как выполнить новое поручение ишана, но на ловца, видно, и зверь бежит. Когда на другой день вечером я возвращался в обитель из ближнего селения, куда меня зачем-то послали, то увидел в поле непривязанную двухгодовалую телку. Отстала ли она от стада, заблудилась ли — я ее спрашивать не стал, а попросту снял свой поясной платок, накинул ей на рога и тихо-мирно повел ее в обитель. Ишан обрадовался.

— Да ты и впрямь молодец! — сказал он мне. — Из тебя толк будет... Сам аллах послал тебе эту добрую тварь! А скажи-ка, никто тебя по дороге не видел? Нет? Никто? Слава аллаху... Молодец, сын мой, молодец, будешь внимать тому, чему тебя учат, никогда не пропадешь, и на этом и на том свете...

Вечером телку зарезали, мясо и сало уложили в хум, а шкуру ишан велел выдубить: пригодится ему на ичкиги, сказал он.

На другой день меня опять послали в соседний кишлак, и тут я узнал, кто был хозяином бедной телки. Им оказался коробейник, житель кишлака — он уже поднял шум на всю округу, разыскивая свое достояние. Наконец, он наткнулся на следы телки и пошел по ним, проклиная на все поле и телку, и того, кто воспользовался ее слабостью. Он сулил ему все хворобы, какие есть на земле, и все удовольствия, припасенные в преисподней. Я следил за ним из кустов. Он разорялся изо всех сил, особенно, когда след терялся. Вдруг он поднял голову, огляделся — и, видно, понял, куда ведет след. Он еще немножко пошел по нему, но тон его высказываний значительно изменился. Весь свой гнев он перенес исключительно на телку. Когда же он оказался перед обителью,

то вовсе замолчал, уставился на ворота, поклонился, хотя его никто, кроме меня, не видел (а меня-то уж он никак не брал в расчет), провел руками по лицу, словно молясь,— и повернул назад. Пройдя несколько шагов, он припустил что было мочи.

Ишана сильно вдохновила моя первая удача. Скоро он опять зазвал меня в свою худжру и произнес новую речь.

— Сынок,— говорил он,— пора братья за другие дела: отправляйся-ка на базары... Есть ведь на свете такие прекрасные вещи, как карманы и кошельки! Что лучше наличных денег? И нести не тяжело, и прятать удобно. Наличные, сынок, наличные!

Боюсь, что я и в самом деле занялся бы этим ремеслом, которым не соблазнил меня даже Султан-карманник, по один случай этому помешал. На следующий день после этого разговора ишан остановил меня во дворе и сказал:

— Сынок, достань ишака, только быстро. Достань где хочешь!

Я с удивлением посмотрел на него. Он рассердился.

— Ну, чего ты глаза вытаращил, говорю, приведи ишака и привяжи к тутовнику во дворе!

Зачем ему понадобился ишак? Не заболела ли крапивной лихорадкой какая из жен? Размышляя об этом, я отправился в кишлак и за две мускатные тыквы нанял на час ишака у того же бедняги-коробейника. На этом самом ишаке он разъезжал по селениям, крича: «Кому усьму, кому шнур для штанов!»

Когда я привязал ишака к тутовнику, третья, беременная жена ишана очень обрадовалась. Она велела полить и подмести во дворе, а в тени под деревом расстелить палас. Пока я всем этим занимался, меня немало поразили знаки почтения и даже нежности, которые выказывала этому ишаку жена ишана. А ведь ее называли внучкой Фатимы, близкой родственницы пророка! Едва я расстелил палас, она велела мне выйти и заперла ворота изнутри. Тут уж мое любопытство и вовсе разгорелось. Я вошел в молельню, прикрыл дверь и тотчас вытащил узорный колышек из стены мечети, выходявшей во двор. Через отверстие все было отлично видно. Жена ишана ножницами надрезала ишаку кончики ушей, из них начала сочиться кровь. Сама же она, положив на палас шелковую курпачу и подушки, прилегла и стала любоваться ишаком. На кровоточащие уши сели мухи, бедное животное заматало головой, отгоняя назойливых насекомых. При этом ишак хлопал

ушами, тряс ими что есть мочи, шлепал друг о друга, а жена ишана смотрела и просто таяла от восторга.

— Ах ты, голубчик мой! — говорила она и, казалось, готова была кинуться ему на шею. — Ах ты, мой красавчик! Да паду я за тебя жертвой, как же мило шевелятся твои ушки! Нет, Анмчахон, — говорила она, обращаясь к другой жене, потому что все остальные тоже вышли во двор и ехидно посмеивались, наблюдая это зрелище, — смотрите, как замечательно у него уши шевелятся! Ах ты, мой голубчик, прелесть моя, ишачок!

Стоя за стеной у отверстия, я тоже беззвучно давился от смеха. Я вдруг представил себе на месте ишака нашего ишана, и как беременная жена расточает ему свои ласковые словечки, и уздечка на нем бренчит, а большие белые уши надрезаны ножницами и колыхнутся во все стороны, а мухи над ними так и вьются...

Ну, когда я себе все это как следует представил и сообразил, что «ишан» и «ишак» не только звучит похоже, а они еще и впрямь похожи друг на друга своими томными глазами и кокетливой походкой, — тут меня так разобрало, что я не выдержал и фыркнул. Видно, это меня и погубило, а может, аллах просто спохватился, да и прочел мои мысли и рассудил, что нельзя позволять даже и в помыслах так насмеяться над его верными слугами. А уж вернее, чем наш ишан, и быть не могло! Так или иначе, но пока я старался потише хохотать и корчился около отверстия в стене, я прозевал подстерегавшую меня опасность. Я почувствовал ее только, когда меня изо всех сил треснули кулаком по спине.

— Ах ты, проклятое отродье, ты что тут делаешь?

Это был сам почтеннейший ишан. Должно быть, он услышал подозрительное фырканье, пошел посмотреть, в чем дело, и застал меня ни больше ни меньше, как за разглядыванием его возлюбленных жен, тех самых, которых я должен был почитать, как родных матерей! Это был тяжкий грех, и прощению он никак не поддавался. На этот раз я не отделался несколькими пинками: ишан проклял меня и выгнал вон из обители...

Я очутился за воротами, на дороге, где недавно стоял бедный коробейник, лишившийся своей телки (а теперь, кажется, еще и ишака), а я со смехом подглядывал за ним из кустов. И я подумал, как переменчива судьба, ведь еще несколько минут назад я был довольно важной птицей в этом курятнике, а теперь уж и носа сунуть туда не могу!

Мало того, я лишился рая! А он был уже у меня в руках. Правда, моя нынешняя жизнь в обители мало напоминает райскую, зато в будущем райское блаженство было мне наверняка обеспечено! И что теперь? Снова скитаться по дорогам? Небо — высоко, земля — тверда, куда идти — неизвестно. Я стал каяться, называть себя бестолковым дурнем, бесприютным бродягой, что катится по свету без цели, как шарик ртути на покато́м полу. Был бы я чуть поумнее да посдержанней, не озорничал бы зря — и жил бы себе, горя не зная. А теперь? Впрочем, что толку каяться, прошлого не вернешь...

### КАК Я РАЗОРИЛ БАЯ

Кишлак я постарался обойти стороной, чтобы, не дай бог, не встретиться с коробейником, и снова, как в прошлые дни, побрел по дороге. На закате я вышел к большой реке. Она стремительно неслась, грохоча на камнях, и вся белела от пены. Что это за река, я не знал, где безопасная переправа — тем более. Я прошел было немного вверх по берегу, потом вниз. В грохоте воды мне чудились человеческие голоса, конское ржание. Но кругом было пусто. В шуме бурной реки можно услышать все, чего ждешь или боишься...

Перебраться я сам не мог, возвращаться тоже было некуда. Я стал ждать, пока кто-нибудь появится на дороге, и тут вспомнилась мне песня, которую я слышал у нас в махалле. Очень уж она была кстати, эта песня бедных странников, и я спел ее проносившимся белым волнам да гладким камням, торчавшим из пены:

Бурная речка, бушует поток,  
как перебраться, не знаю, ёр-ёр,  
Кляча как моци,— а путь мой далек!  
Мне не добраться, я знаю, ёр-ёр.  
Щебень извел мою клячу вконец,  
сам наглотался я пыли, ёр-ёр.  
Стал я желтее, чем тот огурец,  
что и сорвать позабыли, ёр-ёр.  
Эй, тонкобровая, выгни дугу,  
душу до дна осуши мне, ёр-ёр.  
Дом твой белее на том берегу...  
Кинусь,— не жалко души мне, ёр-ёр.  
Что привело меня к вашим местам?  
Сам я не знаю и плачу, ёр-ёр...  
Белым мелькает твой тоненький стан —

шелк или ситец на платье, ёр-ёр?  
Нету для речки ни почи, ни дня,  
пенной поток захлебнулся, ёр-ёр.  
Ах, неужели он лучше меня —  
тот, что тебе приглянулся, ёр-ёр?  
Вижу кувшин я на том берегу,  
вижу кувшин золотой я, ёр-ёр.  
Только руки протянуть не могу —  
взять и наполнить водою, ёр-ёр!  
Трудно кипящий поток переплыть.  
Легче — дорожкой гладкой, ёр-ёр!  
Смелость нужна тут, не жалкая прыть,  
смелость нужна без оглядки, ёр-ёр.  
Странпику, милый, отвага нужна.  
Хочется выпить? Так пейте до дна!

Кончив петь, я в самом деле почувствовал жажду, встал на колени и выпил несколько пригоршней сладкой речной воды, такой холодной, что зубы заломило. Поднимаясь, я увидел старого дехканина на тощей лошади, подъезжавшего к реке. Я побежал ему навстречу, схватил за полу халата и стал умолять, чтоб он и меня переправил.

— Ну да,— сказал старик ворчливо, показывая на свою кобылку,— видишь, какая она худая, только ожеребилась! Да и груз тяжелый, стыдно двоим мужчинам садиться на такую лошадку...

Но я так жалобно упрашивал, что он, по-прежнему ворча, согласился.

Пока он (уже на другом берегу) поправлял притороченный груз, я узнал, как называется река и что сам он — виноградарь из ближайшего кишлака на этой стороне. Он тоже получил от меня все необходимые сведения. Услышав, что я бездомный заблудившийся сирота без роду и племени, что мне негде приклонить голову и получить кусочек сухой лепешки, старик дал мне несколько советов. В кишлаке, сказал он, есть волостной управитель — важный бай по имени Сарыбай-булыс. В его огромном, в тысячу танапов, яблоневом саду всегда требуются рабочие руки, особенно сейчас, когда яблоки поспевают. Бай, конечно, не откажет мне в работе — ведь я наймусь за дешевую плату! А переночевать, продолжал старик, можно уже сегодня вместе с батраками, он сам укажет мне дорогу...

В бараке, куда старый виноградарь меня привел, оказалось человек двадцать батраков — все старики или очень пожилые люди. Я обратился к ним с приветствием, как

положено, и они радушно меня приняли. Когда я сказал, что хотел бы наняться на работу к Сарыбаю, один из них сказал:

— Э, сынок, что тебе здесь делать? Ты еще молод, а жизнь — дорогая штука, пропадет она у тебя тут зря. Пойми ремеслу подоходней, пока есть время...— И так как на лице у меня, видно, отразилось уныние, он добавил добродушно: — Ну ничего, дней десять — двенадцать поработаешь, поправишь свои дела, а там видно будет...

Он налил мне в глиняную чашку половник похлебки и сунул два куска лепешки. Я съел все это с великим аппетитом.

Потом мне показали место для ночлега, и я соорудил кровать из двух ящиков для яблок, да еще подушку — из кучи стружек. Ложе оказалось превосходным, а сон — прямо царским. Во всяком случае, тут было гораздо теплее, чем в молельне у ишана, да и суфи не будили меня чуть свет своими молитвами.

Утром я пошел к баю. Он поломался немного для виду, сказал, что яблоки — это не кирпичи, надо уметь с ними обращаться, потом изрядно поторговался и, наконец, согласился нанять меня за два пуда и семь фунтов яблок в месяц. Но яблоки, добавил он, будут всякие, и спелые и неспелые! Тут и слепой бы увидел, что он собирает меня обжулить, как котенка, и я разозлился, хотя виду не подал. Терять мне нечего, поставлю-ка и я ему одно условие, подумал я, и сказал:

— Бай-бува, мы с вами уже сторговались, но совесть не позволяет мне умолчать об одном своем недостатке. Ведь если я промолчу, сделка по шарияту не состоится... Правда, у меня только один изъян, но...

— Ну, ладно, ладно, выкладывай, какой у тебя там изъян? Что, мочишься ночью? Или припадочный?

— Нет, бай-бува, не это... Но у меня, знаете, такая болезнь с детства, что я нет-нет, а время от времени должен соврать, хоть и помимо воли. Лишь бы вы меня потом не ругали, бай-бува. А плата будет, как вы говорите!

— Ох и нечистое отродье! Хитер ты, парень,— ну ладно, ступай работай, только ври не слишком часто!..

Вот я и в батраках у бая. Работа у меня не слишком трудная: ставлю подпорки к яблоням, собираю и сушу падалицу, а иногда, когда срочно требуются хозяину деньги, грузу недозрелые яблоки на арбу — и везут их на продажу в Дарбазу или Сарыагач. Стерегу сад...

Все это бы ничего, если бы не окаянный характер самого хозяина. Такого злобного зануду я не встречал ни до, ни после! Прав был старый батрак, не советовавший мне сюда наниматься. Если вы подойдете к Сарыбаю по какому-нибудь делу, будьте заранее уверены, что легко не отделаетесь. У него есть дьявольская привычка после каждого пустяка задавать один и тот же вопрос: «А что дальше?» Скажем, вы приходите к нему и говорите: «Кандиль поспел». Кажется, ясно? Но он спрашивает: «А что дальше?» Вы, конечно, говорите: «Надо его собирать». Тут он снова выкладывает свой проклятый богом вопросик: «А что дальше?» Ну, вы говорите: «Продать надо». Все, точка? Так нет же, он не может остановиться. «А что дальше?» — говорит он. И если вы, не приведи господи, не найдете, что ответить, вас ждет самая настоящая взбучка, да еще иной раз кнутом по спине.

И ведь что удивительно: везет таким людям на редкость! Я думаю, плохо ведутся у аллаха долговые книги, отсюда и вся путаница на земле, удачи и несчастья достаются вовсе не тем, кому причитаются. Мало ли было Сарыбаю всех его богатств при такой-то душонке, так ведь еще ему привалило: выиграл недавно в какой-то азартной игре у Юсуфа-контора из Чувалачи его фруктовый сад, и дом с женской и мужской половинами, и все добро, что в доме... И так приглянулся Сарыбаю этот сад, особенно беседка в том саду, продуваемая ветерком, что он, не долго думая, женился там еще раз на молоденькой киргизке, а теперь то и дело уезжает дней на десять — пятнадцать...

Вот и нынче Сарыбай отправился к своей киргизке, а тут яблоки стали поспевать, опадают, но без хозяйского приказа никто не осмеливается начать сбор. Кончился к тому же корм для лошадей, батраки сидят второй день полуголодные, а ехать к хозяину никому неохота — до того осточертело всем его «а что дальше?». Деваться, однако, некуда, и вечером в бараке мы бросаем жребий, кому ехать к баю. И надо же, жребий выпадает мне!

Если я вам скажу, что это меня обрадовало, то возьму на душу тяжкий грех, а их и так у меня хватает. Меня даже в пот бросило, когда я представил себе свой разговор с Сарыбаем. Но делать было нечего: утром мне дали коня, и я отправился в Чувалачи. По дороге я и так и сяк примерялся к будущему разговору, все прикидывал, как я стану отвечать на его бесконечные «а что даль-

ше?», пока не вспомнил вдруг о своем мнимом изъяне, про который наплел баю. Вспомнив, я так обрадовался, что даже ладони у меня зачесались.

Когда я приехал, бай сидел в своей любимой беседке и завтракал вареной бараньей головой. Меня к нему провели, и я тихонько сел у двери.

— Ну?! — спросил он. — Чего приехал?

— Просто так, бай-ата, мы все соскучились по вас, послали меня вас навестить...

— Хорошо, хорошо, молодцы, но не зря ж тебя, наверно, послали, а по делу, говори, что там дальше?

Я понурил голову и сказал, опустив глаза:

— Это самое... Ваш нож с ручкой из слоновой кости сломался, вот я и приехал об этом сказать...

— Ну, а что дальше, как это он сломался? Что вы им, проклятые, резали, другие ножи, что ли, в хозяйстве перевелись?

— Да мы с вашей борзой шкуру снимали, нож напоролся на кость, вот и сломался.

— Что?! — сказал бай. — Как это сдирали шкуру с борзой? Ножом со слоновой... Тьфу! Почему шкуру сдирали?

— Ну, мы спешили, бай-ата, спешили содрать шкуру, как только борзая сдохла, а то шкура пропадет, вот и некогда было другой нож искать!

— Чтоб вам всем пропасть, да отчего она сдохла?

— Мяса дохлой лошади объелась.

— А кто ей дал мясо дохлой лошади, откуда еще дохлая лошадь взялась?

— Никто не давал, бай-ата, она сама накинута. Лошадь-то была не чужая какая-нибудь, ваша лошадь, гнедая с белой отметиной на лбу...

Бай совсем опешил.

— Эй, эй, парень, ты сначала подумай, потом говори... Как ты сказал, околела гнедая с белой отметиной? Спаси аллах, отчего же это она околеть могла?

— Оттого, что негодной оказалась.

— Как это негодной оказалась? К чему негодной? Что ты мелешь?

— Ничего я не мелю, оказалась она негодной воду возить. Ее, оказывается, никогда не запрягали, а тут запрягли, она повозила воду, надорвалась, да и околела.

— Ах ты, подлец, что ты чепуху порешь? — закричал бай, вскакивая с места. Лицо у него все налилось



кровью, губы дрожали.— Там столько ломовых лошадей, кто это додумался возить воду на единственной лошади, которую я откармливал для улака?! Говори, проклятый!

— Да ведь когда пожар начинается, бай-ата, кто же думает, для чего лошадь предназначена, для улака или еще для чего? Запрягли первую попавшуюся, хоть ведро воды привезти!

Пока я это говорил, бай машинально откусил кусок бараньего языка, который держал в руке, но когда мои слова про пожар дошли до его сознания, он судорожно глотнул и, видно, кусок пошел ему не в то горло. Он сидел, уставясь на меня по-бычьему вытаращенными глазами и не произнося ни слова. Я даже испугался, что вместе с бараньим языком он проглотил свой собственный. Но он просто ненадолго потерял дар речи. Наконец, его снова прорвало:

— Ты... ты что, с ума спятил? Что значит — вспыхнул пожар? Где пожар? Отчего вспыхнул?

— Да я-то в своем уме, хозяин. Пожар сначала в конюшне вспыхнул. Бедные лошади, все сгорели.

— О...от...откуда пожар в конюшне?

— Не знаю... По-моему — остальные тоже так думают,— пожар в конюшню со склада перекинулся.

— О, аллах, что за напасть на меня!! Ведь на складе ничего не было такого, чтобы огонь загорелся! Ну, была пшеница, был рис, сало было, материя, они же сами не могли загореться!

— Да вы погодите, хозяин, дайте до конца договорить. На склад огонь с усадьбы перекинулся. А уже в конюшню — со склада. Так и пошло от одного к другому...

— Значит, и усадьба сгорела?!

— Сгорела усадьба, и склад сгорел, и конюшня, и лошади погибли, и гнедая пала, и борзая сдохла, и нож сломался...

— О-о-о, горе мне, а я-то сижу и ничего не зна-аю! О-о-о... Ну, а отчего в усадьбе загорелось? А?

— От свечи, хозяин, загорелось, от свечи...

— От какой свечи, совсем ты рехнулся, что ли? Разве в моем доме зажигают свечи?! А куда девалось столько ламп, которые я привез из Ташкента, а? Куда они девались? Я же керосин бочками покупал, на целый год запасся! Чего ж вы зажигали свечи?!

— Смотрю я, хозяин, совсем вы человеку слова не

даете сказать! Где же это видно, чтобы над покойником зажигали керосиновую лампу?

Тут он так и присел. Видно, он совсем ошалел от моей брехни и не мог толком понять, на каком он свете. А я тем временем продолжал ему объяснять, как маленькому:

— Разве вы не знаете, хозяин, над покойником огонек должен гореть, чтобы ночная бабочка прилетела — в кого же иначе дух покойника войдет? Вот и наливают воду в чашку, ставят веточку яблони, бабочка как прилетит — сядет сперва на веточку, отдохнет и начинает кружить...

Бай, видно, не в силах был слова произнести. Он махнул рукой, чтоб я замолчал, и еле выговорил:

— Кто... кто умер?

Тут я закрыл лицо руками, заплакал в голос и проговорил вперемежку с плачем:

— Ваш младшенький... вай-буй!.. Бурибайвачча... О-о-ой... залез на тополь... вай-вай... хотел птенчика достать... а-а-а... у... упал с дерева и-и-и... умер, только крикнул один раз «папа»!

Я не знаю, дослушал ли меня бай до конца — но он ударил себя по голове пиалой, пиала разбилась, из ссадины на виске потекла кровь с чайниками, а он рвал свою бороду и громко плакал. Я рыдал вместе с ним. Наконец мы оба затихли, бай сидел и горестно раскачивался.

Я решил, что немножко переборщил, и надо сочинить что-нибудь утешительное.

— Ой, хозяин,— сказал я чуть всхлипывая, но уже с радостным лицом,— пусть аллах одарит вас с избытком, даже если сын ваш умер, и дом сгорел, и лошади пали, и борзая... — Бай посмотрел на меня с несправедливостью, и я, прервав себя, поторопился перейти к утешительной части.— Бай-ата, я принес вам и одну приятную весть, которая утешит вас во всех горестях.

Издав глухой ухающий звук, он спросил:

— Ну, пропади она пропадом, твоя приятная весть, что ты там еще принес, проклятый, говори?

— Ваша средняя дочь Адаль-апа родила такого сына, что он стоит дороже любого богатства!

— Что-о? — сказал бай. Глаза у него полезли из орбит.— Какая Адаль-опа? — Он на секунду замолк, потом заревел, как бык: — Моя дочь еще не замужем!

Я пожал плечами.

— Мы все тоже очень удивились. Но аллах, если захочет, может одарить и незамужнюю. А мальчик-то, бай-

ата, какой мальчик этот ваш внук! — Я выдержал мгновенную паузу и добавил скромно: — Знаете Бадала, вашего арбакеша? Вылитый он...

Этого бай не вынес: он без сознания повалился на курпачу. Я не стал терять времени и тут же уехал. Такие хорошие вести стоят не одного удара плетью, но я, по своей скромности, решил обойтись без этой честно заслуженной награды.

Спустя час после моего возвращения в усадьбу прибыл на буланом скакуне и Сарыбай. Он ехал с опущенными лапами, глядя одним глазом в небо, другим в землю. «Как бы не стряслось какой беды», — подумал я и спрятался. Домашние бая, услышав его плач и причитания, решили, что случилось какое-то несчастье. Они, тоже плача, вышли ему навстречу, Сарыбай слез с коня, начались вопли и горестные объятия. Но тут из ворот, присоединяясь к общему горю, выскочил сопливый Бурибай, младший байский сынок. С вошем «папа» он побежал к отцу, а Сарыбай так и присел, не зная, мерещится это ему или он увидел привидение. Тут все и разъяснилось — оказалось, что и лошади целы, борзая жива, и усадьба не сгорела, и даже нож с ручкой из слоновой кости лежит на месте целехонек.

Можете мне поверить, в тот день я сделал все возможное, чтобы меня не нашли — хотя искали меня усердно. Но на следующее утро я попался. Меня связали и принесли к баю, и первым делом я получил свои двадцать ударов плетью, без которых собирался уже обойтись. Потом бай спросил, задыхаясь и кривя рот:

— Ты, собачье отродье, это что за проделки?

На этот раз я всхлипывал уже непритворно, мне было больно.

— Мы с вами с самого начала договорились, бай-ата (всхлип), что я иногда (всхлип) неправду говорю! Это у меня (всхлип) с детства, я же вас предупреждал, дорогой хозяин (всхлип)...

— Ну и что, кончилось на этом твое вранье?

— Ой, нет, бай-ата, не кончилось...

— Ну, если не кончилось, то когда ты выложишь все, я совсем лишусь семьи и крова! Вон отсюда! Чтоб ты сдох! Чтоб тебе век не наедаться! Гоните этого лгуна!

Меня развязали и погнали было со двора, но я громко завопил и потребовал расчета. Я проработал у бая месяц и девять дней! Бай махнул рукой и велел со мной расчи-

таться. Он вычел двадцать две копейки, выданные на мелкие расходы, и мне насыпали в старую рогожу пуда два червивых яблок... Ну, я и этим был доволен. Кое-как взвалив на плечи мешок, я снова отправился в путь...

## МЫ ПЕРЕГОНЯЕМ БАРАНОВ

Снова в путь!..

Опять скитания, опять бродяжничество!.. Я — словно птенец кукушки, выпавший из чужого гнезда. Куда теперь приведет меня судьба? Где доведется остановиться?

Я брел, сгибаясь под тяжестью заработанных яблок, не меньше тысячи раз послав проклятия баю, да и самому себе за то, что согласился на такую оплату. Прав был почтеннейший ишан, когда говорил мне: «Наличными, сынок, наличными! И носить легко, и прятать удобно...» Я бы с удовольствием спрятал куда-нибудь эту чертову рогожу, чтобы век ее не видеть, да ведь жалко так, ни за что, бросить свой месячный заработок!

Дорога между тем выбралась в холмистую местность, пахучие степные травы покрывали все кругом, багровый закат растекался по горизонту, а с востока шла темнота, и ближние склоны холмов казались черными. Вдалеке, в стороне от дороги, я увидел юрту и заторопился к ней. Около юрты было пусто, холодный очаг чернел пустым котлом. Ни собаки, ни скотины. Я постучался в дверь. «Кто там?» — глухо спросили изнутри. «Божий гость!» — сказал я. Хозяева выглянули и подозрительно оглядели меня с моей ношей — видно, приняли за вора с добычей, — однако в юрту пустили. А когда я развязал свой мешок и роздал хозяйским ребятишкам по яблоку, настроение у всех и вовсе переменилось. Никакой вор не станет переть на собственном горбу мешок с червивыми яблоками! Передо мной положили половину лепешки. Я пожевал ее — мне что-то и есть не хотелось от усталости — и заснул, положив яблоки под голову вместо подушки.

Утром я снова потащил свой мешок, разузнав у хозяев юрты ближайшую дорогу на Сарыагач. Добрался я туда в полдень, чуть не падая от усталости. Как назло это был базарный день, с округи навезли всякой всячины, и мои яблоки, как я ни старался, особым спросом не пользовались.

— Подходите, не пожалеете! — орал я, довольный,

врочем, уже тем, что яблоки лежат на земле, а не на моей шее.— Продам и уйду! Подходите! Кто съест это яблоко, тому не нужна лепешка! Продаю только тем, кто разбирается в дарах сада! Подходите, не пожалеете!

Еле-еле я их распродал, а когда подсчитал деньги — оказалось шесть таньга и мири! Я и не рассчитывал на такую сумму!

Хорошо бродить богачом по базару. Совсем по-другому прицениваешься, когда знаешь, что в самом крайнем случае можешь купить все, что попало тебе на глаза или на язык. Минут десять я торговал у какого-то парня железную ванну, но давал ему очень мало и наслушался крепкой брани. Потом я долго приценивался к пальто с бобриковым воротником, даже примерил его под конец, но оказалось, что в нем мог бы поместиться не только я сам, а и все мои будущие дети, сколько бы их ни появилось на свет. Хозяин пальто опять же на меня здорово разозлился, хотя он с самого начала прекрасно видел, какого я роста и толщины, а уж размеры пальто были ему и до того известны.

Потом я пошел на скотный базар — что-то меня туда потянуло — и начал прицениваться к большому круглолобому барану с рогами, закрученными, как чалма у воспитанника медресе. И вдруг мелькнула передо мной какая-то вроде знакомая физиономия. Я огляделся. Около стада баранов, связанных одной веревкой, стоял парнишка в казахском чекмене и вывернутой наизнанку меховой шапке. В руках он держал дубинку с утолщением на конце. Ей-же-ей, никто из моих друзей такой одежды не носил, и все же очень знакомо мне это лицо, от пыли и солнца ставшее похожим на кошму, и эти карие глаза под пыльными ресницами, которые и сами-то вдобавок всматриваются в меня с надеждой...

— Аман!! — завопил я и кинулся к нему. Он заорал еще громче моего и побежал навстречу. Мы обнялись, похлопали друг друга по плечам, — потом уселись рядом и стали друг друга наперебой расспрашивать — ведь мы расстались, удирая тогда от пастухов, да так и не знали, удалось ли другому избежать их мести.

Аман, оказалось, еле спасся, совсем было его нагнали, но тут один из пастухов поскользнулся на куске свежего лошадиного помета, да и упал, второй на него палетел, вот Аман и выиграл расстояние. Потом он бродил по кишлакам, все боясь наткнуться на этих пастухов, а про домлу, как и я, он больше ничего не слышал, да, по правде ска-

зять, и не старался. Хотел было отправиться домой, да побоялся прийти с пустыми руками, решил сперва к двоюродному дяде в Чимкент навеститься. Но, на беду, дядя за месяц до того умер, и Аман волей-неволей нанялся к богатому баю-скотоводу, отару которого встретил в дороге. А теперь уж так он рад, так рад — и одет он, и сыт, а пастухи работают у бая за двух овец и одного козла в год, так что, если овцы принесут двойни, Аман, глядишь, и сам заделается хозяином большой отары. А сейчас они как раз гонят отару в Ташкент, на базар, там он и дома побывает, отцу расскажет, а сегодня они по дороге остановились в Сарыагаче, благо базарный день, авось дадут подходящую цену, не надо будет и в Ташкент гнать...

Я позавидовал Аману — надо же, как ему повезло, не то что мне с моими червивыми яблоками! Я ему, конечно, про яблоки рассказывать ничего не стал, показал только свои деньги да еще прибавил, что главный капитал уже прокутил, а то мог бы и я баранов занять. Словом, я не дал ему повода передо мной загордиться, а потом сказал, что его работа мне тоже по душе, да и в Ташкент пора, хорошо бы он замолвил словечко своему хозяину, чтобы и меня с ними взяли, а уж я послужу честно и бескорыстно. Я видел, что Аману моя просьба понравилась. Во-первых, он и вправду обрадовался встрече и вдвоем было бы веселее, а во-вторых, ему приятно было выступить в роли важного ходатая.

— Хорошо! — сказал он, сдвинув брови. — Вот доберемся до Кок-Терака, я хозяина попрошу.

Но вышло все еще лучше, ему даже и просить не пришлось. До вечера я помогал ему присматривать за отарой. В эту пятницу в Сарыагаче был большой спрос на коз, хозяин Амана всех своих коз продал, но бараны остались — семьдесят три штуки. К вечеру бай, садясь на своего скакуна, сказал Аману:

— Твой друг, видно, хороший парень, и скота осталось не так уж много. Перегоните-ка баранов к утру на кок-теракский базар, вдвоем вы запросто управитесь. А я вперед поеду.

Мы радостно согласились, поклонились баю, прижав руки к груди. Он хлестнул коня и ускакал, а мы загнали баранов в сарай, закусили и легли отдохнуть до вечера. Когда взошла луна, мы отправились в Кок-Терак.

Мы передвигались, посвистывая и окликаая баранов, то и дело обегая отару и следя, чтобы она не разбrelась.

Не прошли мы и версты, как я понял, что нам предстоит не легкая почная прогулка, а тернистый путь, полный мучений. Сколько раз я говорил «глуп, как баран», но только теперь увидел, что все, кого я так ругал, и вполовину не были так глупы, как эти крутолобые тупицы. Если что может сравниться с бараньей глупостью, так только баранье упрямство. Первому барану на земле надо было здорово изловчиться, чтобы при таком уме заполучить еще и такой норовистый характер. По-моему, чего-нибудь одного было бы уже вполне достаточно. Впрочем, пока баран был один — а сначала он наверняка был один, — это жуткое сочетание было еще не очень заметно. Так оно осталось и до сих пор: пока вы с бараном наедине, вы еще можете кое-как с ним поладить. Но когда баранов становится много, а вы по-прежнему один, они превращаются в настоящих чертей. Теперь, кстати, я понимаю, почему у шайтана на голове бараньи рожки. В преисподней, надо полагать, так и поступают: оставляют грешника наедине с целым стадом баранов.

Единственный, кто по-настоящему может с ними управляться, — это, как известно, вовсе не человек, а козел. Наверное, потому, что своим упрямством он и их в состоянии перешибить: пока они говорят ему одно слово, он им — десять. Козла они слушаются, как родного отца, хотя, кстати сказать, родного отца они вовсе не слушаются, даже если и знают его в лицо. Без козла они прутся, куда в голову взбредет, — пастуху приходится садиться на ишака, ехать впереди стада и блеять по-козлиному. Но у нас не было ни козла, ни ишака. К тому же я, при моей малой опытности, блеял так, что не мог бы обмануть даже самого глупого барана.

Кое-как, с божьей помощью, мы все же передвигались, а ночь вокруг стояла просто замечательная. Кругом расстилалась холмистая степь, склоны холмов серебрились под луной, а черные тени казались бархатными. Сама луна плыла в небе, золотая и крутолобая, и упрямо пробивалась сквозь облака, теснимые ветром. Ветер пробегал по земле, шурша травами и неся ароматную прохладу. Словом, такая была ночь, что даже на баранов она подействовала. Они шли спокойно по дороге, только изредка негромко блеяли, и то не из протеста, а скорее в знак согласия. Вскоре дорога вывела нас к железнодорожному полотну и пошла рядом с ним, сопровождаемая негромким пением

телеграфных проводов. Мне тоже захотелось петь, и я затянул, взяв сразу высокую ноту.

— Хорошо поешь,— сказал Аман мечтательно,— давно я не слышал знакомого пенья...

Подхлестнутый похвалой, я забирался все выше и выше, на тонкие ноты, словно в самое поднебесье, чтобы и там меня услышали и небо потряслось до краев. О чем я пел, толком не помню, но, наверное, о ночи, о луне, о дальней дороге, о рельсах, уходивших вдаль, как две серебряные нитки, и где-то далеко впереди сливавшихся в одну, как сливаются в одну все земные дороги...

А бараны между тем то и дело забирались на насыпь, и козла нам по-прежнему здорово не хватало. Впереди показался небольшой кишлак, словно прилепившийся к железной дороге, проселок пошел по кишлачной улице, меж низких дувалов, и мы погнали баранов вперед, а улица снова вышла к железнодорожному полотну. Аман кивнул на рельсы:

— Вот благодать, кто поездом едет,— сказал он и добавил мечтательно: — Эх, сесть бы в поезд и отправиться далеко-далеко...

— Да, здорово бы,— сказал я.— Иметь бы денег без счета и разъезжать себе! В Каунчи поехал, в Туркестан, в Чиназ, а то хоть бы и в Москоп, и никто тебе ни словечка не скажет, будто так и надо. А ты едешь себе и едешь...

И тут, словно в сказке какой, действительно послышался шум поезда! По рельсам неслись два огненных глаза, стремительно приближаясь, и мы с Аманом, все еще во власти мечтаний, так и усталились на них, забыв обо всем. Нам вдруг показалось, что наши мечты вот-вот сбудутся и, уж во всяком случае, можно будет наглядеться вдоволь на поезд, который мчится прямо перед твоим носом, а это не каждый день выпадает мальчишкам вроде нас. Поезд оказался, правда, вовсе не пассажирский, а товарный, зато паровоз у него был не один, а целых два, а уж вагонов к ним было прицеплено — больших красных вагонов — столько, что и конца не видать.

Паровозы пронеслись мимо, и вдруг оба разом оглушительно загудели! Чего это им вздумалось, я до сих пор не понял, только загудели они так, как будто миллион быков среди ночи решил переменить хозяина и заявил об этом во всеуслышание. Округа затряслась от рева, и, по правде сказать, мы с Аманом тоже. Уж больно неожиданно пришла этим паровозам блажь в голову.



А что до наших баранов, так они и вовсе сочли, что настал конец света и надо срочно искать дорогу в другое место. Некоторые, прижатые к дувалу, со страху полезли вверх, как кошки, но до кошек по этой части им было далеко, и они посыпались обратно, устроив такую свалку, какой в здешних местах наверняка еще не видывали. Другие помчались назад по темной улице. Третьи, совсем перестав соображать, сунулись было на насыпь, откуда как раз им и следовало бежать, но, к счастью, вовремя скатились назад. Словом, они устроили такую игру в прятки, что, когда поезд наконец прогрохотал мимо и промчался, тяжело стуча, последний вагон с прикрепленным сзади красным сигнальным огнем, похожим на раскаленный от злости глаз шайтана, — мы нашего стада уже не увидели.

Пыль валила столбом, словно дым из печи для обжига кирпича, да слышалось поблизости жалкое перханье слабых овечьих глоток. Это были несколько охромевших и сунгных овец, которые прижались к дувалу — все, что осталось от нашей отары.

Мы в отчаянии побежали в разные стороны, окликая разбежавшихся баранов. В темноте я наткнулся на одного и поволок его назад. Из пыли вынырнул силуэт Амана.

— Где же вы, чтобы вы сдохли! — кричал Аман плачущим голосом — и тут наткнулся на меня. Оба, разом, мы хрипло спросили друг друга:

— Где бараны?

Аман зло взглянул на меня, отвязал от пояса веревку и связал вместе остатки отары. Потом мы снова побежали по кишпачной улице. Дувалы кое-где пообвалились, бараны, видно, перепрыгивали их тут, как горные козлы. Мы стали лазить по дворам, рискуя нарваться на собак. Это было все равно что искать муравья на черном паласе, но мы лазили около трех часов и нашли пять баранов в одном дворе, трех — в другом, еще несколько — в развалинах какого-то заброшенного дома, больше десятка — в посевах... Мы совсем выбились из сил, а передохнув немного, стали пересчитывать отару. Не хватало семи баранов. Я посмотрел на Амана, он — на меня. Глаза его сквозь слой пыли блестели в темноте, как бусинки, вмазанные в глинобитную стенку.

— Что же теперь делать? — сказал он.

Я чуть не плакал:

— Не рассчитывать нам за семь баранов, даже если два года вдвоем работать!..

— Пошли, поищем еще.

Начинало светать. Мы перебрались через насыпь, увидели там и сям катышки овечьего помета, пошли по ним, как по следам, и у маленькой речки неподалеку обнаружили еще двух беглецов. Остальных не было, а искать — времени уже не оставалось: до Кок-Терака немалый путь, и хозяин ждал нас на базаре.

В дороге одна овца начала отставать от стада, бляла, коротко кашляла и посверкивала глазами. Как мы ни старались подогнать ее к остальным, она не поддавалась, то и дело расставляя ноги, точно собираясь присесть.

— Эй, парни! — крикнул ехавший нам навстречу казах на бурой лошади. — Не подгоняйте свою овцу, она у вас, видно, скоро околится!

Мы сперва не поверили, но у овцы, перепуганной поездом, действительно начались преждевременные роды! Только этого нам неоставало... Будь он неладен, этот ублюдок, поторопившийся на свет раньше времени! Однако у бедняги овцы прямо глаза лезли на лоб, она стонала и корчилась, и у нас пропала вся злость. Отогнав баранов, мы стали, как могли, принимать роды. Когда у овцы начались потуги, мы стопали и тужились вместе с ней, крихтя так громко, словно это нам предстояло произвести на свет ягненка. Наконец, мы разродились. Овца облизала ягненка с ног до головы, и мы, может, сделали бы то же самое, но любвеобильная мамаша явно нас ревновала, да и времени на семейные нежности не оставалось: мы и так рисковали попасть на базар к закрытию.

Хотя овца нас и задержала и вдобавок мы должны были теперь вместо нее пести ягненка, завязав его в поясной платок, управляться со стадом стало куда легче. Только что разродившаяся овца бежала без усталости вслед за тем из нас, кто нес ягненка, не отставая ни на шаг, а за ней кучей следовало остальное стадо. Так что теперь можно было не сетовать на отсутствие вожака, и мы поняли, чем берет козел — уверенностью в себе. Бараны всегда пойдут за тем, кто шествует с достаточно уверенным видом, куда бы он ни шел, хоть в пропасть.

Если овца вдруг теряла своего новорожденного из виду, мы бляли вместо него. Может, это у нас и не так уж здорово получалось, но ведь ягненок только что родился, и у него тоже был не бог весть какой опыт. Так мы добрались до реки.

Мы заранее знали, что предстоит переправляться че-

рез реку — то есть Аман знал и сказал мне, — но у нас столько было хлопот ночью, что мы забыли об этом и теперь прямо растерялись. Попробуй заставить всю эту подлую ораву лезть в воду по доброй воле! И на руках их всех не перетащить — речка была хоть и не очень широкая и бурная, но все-таки ничего себе, шутить с собой она бы не позволила. Мы посоветались и решили снова подзаработать на материнской любви. Аман разделся, взял на руки ягненка, показал его овце и, громко бляя, стал переходить реку вброд. Речной шум ему помогал, но он и сам бляял неплохо, будь я бараном, я бы поверил. Овца-мать задержалась на берегу, озираясь в панпке, но материнское чувство одержало верх: она бросилась в воду и поплыла вслед за Аманом. За ней бросились остальные. Я подталкивал самых трусливых, спихивая их в воду, и скоро вся отара была в реке. Бараны плыли, задрав головы, как мышь, попавшая в молоко. Иногда течение их сносило, мы их вылавливали. В конце концов счастье нам улыбнулось: переправа закончилась без новых потерь.

Мы отправились дальше. Взошло солнце. Впереди показались знакомые нам контуры Кок-Терака.

Бараны устали, бока у них запали от голода. Мы тоже совсем изнемогли и проголодались как волки, но в первую очередь надо было позаботиться о баранах — продать-то предстояло их, а не нас. Надо было их хоть немного пасти, чтобы на базар они пришли с надувшимся брюхом, иначе покупатели к ним и не подойдут. Мы как раз шли мимо поля, поросшего травой. Посоветовавшись, мы остановили баранов и пустили их на траву, а сами прикорнули неподалеку. Расстелив халаты, мы молча лежали, присматривая за пасущейся отарой, и раздумывали, как будем отвечать за пропавших баранов. Чтобы легче было думать, мы прикрыли глаза... и проснулись от громкой ругани!

Над нами стояла огромная буланая лошадь, а на ней, размахивая плетью и понося нас на чем свет стоит, выштался толстый мужчина. Аман вскочил, и на спину его обрушилось несколько ударов. Я опомнился позже, но учел его промах и, увернувшись, избежал его печальной участи.

Человек продолжал отчаянно ругаться. Его длинная с проседью борода гневно развевалась, провалившийся нос был похож на тесно пришитую к ватному халату пуговицу. Потом мы узнали, что это был знаменитый бай по имени Азиз-курносый, хозяин окрестных земель. Впрочем, о

последнем мы сразу догадались, оглядевшись: наши бараны разбрелись по хлопковому полю и за милую душу поедали хлопковые кустики.

Подгоняемые руганью, отчаянием и мрачными предчувствиями насчет того, чем грозит нам новая беда, мы кинулись собирать баранов. Они успели уже как следует распорядиться частью будущего урожая. Когда мы вывели с поля своих бедолаг, бай кликнул издольщиков, работавших неподалеку, и приказал гнать баранов в свою усадьбу!

Мы стали молить его, цепляясь за стремя:

— Бай-ата, мы бедные сироты, пощадите нас, дайте заработать свой кусок хлеба, век будем за вас молиться...

Но бай, продолжая самозабвенно ругаться, огрел каждого из нас плетью и поехал за отарой. Мы потащились вслед, Аман нес ягненка. Подъезжая к усадьбе, бай замешкался, мы его догнали и стали молить снова:

— Бай-ата, смилуйтесь, ведь сегодня базарный день, нас на базаре ждет хозяин, вы его, наверно, знаете, если мы не приведем баранов, он нас убьет до смерти!..

Бай покосился на нас:

— Кто ваш хозяин?

— Караходжабай, да будет над вами милость аллаха...

Бай как будто немного смягчился и снова глянул на нас краем глаза.

— Ладно, я поговорю с вашим хозяином... — он сплюнул, — скажу ему... — он снова сплюнул, — ...чтобы вас, негодяев, как следует проучил! Нарочно сегодня на базар съезжу! Я ему скажу, как вы, подлецы, разбазариваете богатство правоверного мусульманина, нажитое с таким трудом! Наверное, и с самими баранами Караходжи вы так же обошлись! — Мы даже задрожали от испуга, так ловко он попал в точку. — А ну! — рявкнул он что было силы. — Забирайте своих баранов и гоните на базар!!! Уже полдень, а вы, собачье отродье, дрыхнете на холодке! А-а! — И он снова замахнулся плеткой, но мы не стали дожидаться, пока плетка опустится на нас.

Вознося аллаху благодарность и моля его о новых милостях, мы погнали баранов на базар.

Хозяин ждал нас, весь кипя от ярости. Едва мы подошли, он на нас накиннулся и стал ругать последними словами, но мы сносили все это терпеливо, вернее, мы просто оцепенели, представляя себе, что будет, когда Караходжабай обнаружит недостачу. Он велел связывать баранов по десять. Мы принялись за это, а сердца у нас дрожали мел-

кой дрожью, как листья тополя. Мы уже связали три десятка и кончали четвертый, когда Аман вдруг подтолкнул мне одиннадцатого барана и подмигнул. Я понял: ему что-то пришло в голову. Когда я потащил новую связку пленников к остальным, Аман вдруг заорал на меня:

— Ах ты, дурак припадочный, и считать-то не умеешь! Смотрите, бай-ата, он, оказывается, связывал по одиннадцать баранов вместо десяти! Ах ты, идиот, из-за тебя бай-ата мог убыток понести, дубина ты чертова, недоносок проклятый!

Бай сразу клюнул на это, мигом пересчитал баранов в той связке, что я вел, выругался и повернулся, чтобы пересчитать первые связки. Тогда Аман изо всех сил дернул меня за рукав, мы отскочили в сторону — и мгновение спустя нырнули в базарную толпу!

## МЫ ССОРИМСЯ

Когда удираешь, нет ничего лучше, чем нырнуть в густую толпу. Ни в каком лесу, ни в каком запутанном лабиринте, ни в какой темной пещере нельзя спрятаться так, как на ровном открытом месте, посреди базарной площади, в людской толчее. Я думаю, это не оттого, что люди так уж похожи друг на друга, и, уж во всяком случае, не потому, что они прямо-таки жаждут помочь вам спрятаться. Наоборот, этого иногда легче добиться от дерева или камня, а толпа-то как раз готова наброситься на любого беглеца и устроить ему веселые похороны раньше, чем разберется, почему он бежит и кого надо по-настоящему ловить — беглеца или погоню. Нет, секрет скорее в том, что в толпе человек дуреет — от шума, тесноты, обилия ему подобных — и обвести его тут вокруг пальца проще, чем приманить котенка клубком. Иначе зачем бы на базаре собиралось столько мошенников?

Когда вы от кого-нибудь бежите, вам в толпе и прятаться не надо, стоит только внушить ближайшим соседям, что беглец находится в другой стороне. И если вы держитесь достаточно уверенно, они скорее сочтут этим самым беглецом свою родную бабушку, чем вас.

По правде говоря, человек в толпе немножко похож на барана в стаде: если аллахом отпущена ему некая толпка глупости, тут он выжимает из своего запаса удесяттеренную порцию.

Вернее сказать, попав в толпу, человек как бы лишается собственного зрения — ведь за чужими спинами мало что видно — и подхватывает любые крохи чужой осведомленности, какие ему перепадают, да и своими делится охотно. А так как в толпе все видят одинаково — одинаково мало, — то к домыслам одного присоединяются домыслы всех прочих, и в результате каждый становится обладателем такой чепухи в голове, какой в одиночку он бы ни за что не приобрел.

Итак, мы нырнули в толпу и стали пробираться в ней с самым независимым видом. Аман тем временем снял с себя меховую шапку, чекмень и сунул их под мышку. Выбравшись из толчеи на другом конце базара, мы очутились на большой дороге, идущей через весь город, но, поскольку это было для нас небезопасно, свернули в узкую улочку и тупичками, задами каких-то дворов, перелезая через дувалы, добрались до заброшенного садика и прилегли отдохнуть.

Едва отдышавшись, мы почувствовали голод. Не мудрено, мы не ели со вчерашнего дня. Однако сходить куда-нибудь хоть за лепешкой боялись, да так и пролежали час или больше, пока желудки наши окончательно не взбунтовались.

Мы кое-как выбрались из города и пошли наугад, полем, надеясь встретить каких-нибудь добрых людей. Хоть мы и потеряли пять баранов и сбежали от хозяина без гроша, хоть и намучились за ночь и устали, один аллах знает как, я был в бодром настроении и чувствовал себя свободным от всяких оков.

Но Аман был мрачнее тучи. Он не разговаривал, а на мои вопросы отвечал насупившись, не глядя, и веки его нависали, как крыша над покосившимся айваном. Мне надоел его хмурый вид, и я попробовал его развеселить, но он и вовсе разозлился.

— Молчал бы уж! — сказал он. — Тебе что, а я из-за тебя двух баранов и козла лишился! Пока тебя не принесло, все дела шли лучше не надо. За тобой беда по пятам ходит. Мало мне было того покойника, так нет, еще раз с тобой связался! У-у, неудачник чертов!

Я тоже вышел из себя.

— А ты кто? Ишь, счастливчик конопатый выискался! Думаешь, я мечтал с твоими баранами породниться? Да если б не я, ты бы не пять, а двадцать пять баранов потерял! Кто за ними по всем дворам лазил? Кто у овцы

ягненка принимал? Может, все ты? Да пока бы ты до своего козла дослужился, у тебя бы еще целая отара сбежала! Понял?

— Я-то понял, а ты сейчас тоже поймешь...

— Что это я пойму?

— Поймешь, как носом арык роют!

— Ты, что ли, мне покажешь?

— Я покажу!

— Ну давай, покажи!

— И покажу!

— Давай, давай, твой нос только на то и годится!

Дело у нас, пожалуй, дошло бы и до драки, не будь мы такими усталыми, голодными и не припекай солнце так сильно. Давно перевалило за полдень, а мы по-прежнему шли пустым полем, вдоль межи. Наконец, мы увидели нескольких человек, копавших морковь. Подойдя, мы поприветствовали их и спросили, как выйти на дорогу. Один из них, старик с добрым морщинистым лицом, оглядел нас внимательно и спросил:

— Это на какую же вам дорогу, дети мои, не на базар ли?

— Нет, ата,— с готовностью сказал Аман,— мы с базара!

— А-а, понятно,— сказал старик и утвердительно покачал головой, словно соглашаясь с собственными мыслями.— Но уж если вам не повезло с базарными делами, дети мои, куда вам сейчас торопиться? Или вас где-нибудь ждут? Оставайтесь-ка лучше, да и помогите нам копать морковь. Поработаете день-другой, мешок моркови заработаете — пригодится на мелкие расходы...

Лучшего мы бы и сами не придумали! У нас слюнки потекли при виде моркови, крупной, ядреной и такой, наверное, сладкой и хрустящей. А этот старик — прямо ясновидец! Как он узнал, что нам на базаре не повезло?

— Спасибо, ата,— сказал я.— Нам и правда торопиться некуда. Идем работу искать...

— Э, дети мои, работу не ищут, она сама лезет из-под ног. Подними палку да переложил на другое место — вот уже и работа. Ну, давайте, принимайтесь копать, бог даст, будет и вам и нам.

Мы бросили халаты на грядку и принялись за дело. Морковь, черт ее побери, уродилась на редкость, самая маленькая — с точильный брусочек. Выкопав немного, мы с великим наслаждением сгрызли несколько штук, они и

впрямь были сладкие как мед. Так и пошло: несколько взмахов кетменем, несколько морковок в мешок дехканина, и одна — в нашу пользу. Наши пустовавшие «мешки» тоже быстро наполнялись, особенно Аман старался.

К вечеру приехал хозяин поля. Увидев его издали, восседающего на лошади, мы принялись копать с удвоенным усердием. Подъехав, он с любопытством поглядел на нас и расспросил старика. Старик (он был тут за старшего) стал нас хвалить:

— Сам бог послал нам этих ребят, хозяин, да будет им счастье в жизни. Шли они мимо, но уважили мою просьбу и с полудня вдвоем целую гору моркови накопили! Бай, слушая, одобрительно кивал головой.

— Ну, если так, — сказал он, — приведите их в усадьбу, пусть поужинают. — Он повернул коня и добавил, обернувшись: — Таким честным парням любой даст кусок хлеба!

После его отъезда мы проработали недолго — стемнело. Морковь погрузили на арбы. По дороге в усадьбу Аман то и дело поглаживал живот, и лицо у него стало бледное, насколько можно было разглядеть в темноте.

У хозяина на ужин была машхурда. Он расщедрился и вынес похлебку в огромной миске, полной до краев. Деревянные ложки, которые достались нам с Аманом, были вдвое больше обыкновенных, почти как половники, а такой вкусноты нам давно есть не приходилось. Мы так налегли на машхурду, что другим просто ходу не давали: проглатывали целый хауз, пока остальные доносили до рта маленькую лужицу. Громадная миска опустела так быстро, что никто и опомниться не успел.

Люди, копавшие вместе с нами морковь, оказались соседями бая — участниками хашара. После ужина, прочитав короткую молитву, они разошлись по домам, а мы остались ночевать у хозяина. Он указал на место в проходе к хлеву: там стояла старая кровать с веревочной сеткой. Аман давно мечтал поспать на кровати. Он был старше меня, и я уступил ему это роскошное ложе — без особого, впрочем, сожаления. Он постелил на сетку овчину и лег, укрывшись чекменем. Я расположился на земле.

Мне казалось, я мгновенно усну — не тут-то было. Аман так скрипел кроватью, что, едва задремав, я сразу открывал глаза. Пометавшись, как рыба, в своей сетке, он вставал и со стоном бежал куда-то во двор. Потом возвращался и опять долго скрипел, пристраивая живот. Но че-



рез две-три минуты вся музыка начиналась сначала. Морковь была сорта «мушак» — самого сладкого и коварного сорта. Возможно, она не поладила с машхурдой, и теперь они дрались в кишках у Амана, как бешеные кошки, только клочья летели. Не знаю, кто из них был ближе к победе, но Аману явно доставалась вся горечь поражения. А я — то ли не проявил такой жадности, то ли просто желудок у меня уже ко всему привык за время бродяжничества, — я не чувствовал никаких неприятностей. Морковь и машхурда улеглись во мне так мирно, словно их одна мать родила.

Утром мы встали чуть свет, умылись в арыке и стали дожидаться хозяина. Аман был бледен, то и дело морщился: он бегал взад-вперед до самого рассвета.

Вскоре хозяин вынес в кумгаше чай, заваренный кожицей джиды, и две лепешки.

— Ну, что дальше будете делать? — спросил он. — У меня в усадьбе есть еще несколько работников, они вчера в степь за соломой уехали. Может, вы останетесь? Уже осень на носу, а там, глядишь, зима, зимой и работы почти нет. Будете присматривать за скотом, вот здесь костер разводите да отлеживаться в свое удовольствие. Еды хватит, одену я вас, как франтов, на мелкие расходы дам... Ну, а другие деньги — уж извините: сами понимаете...

Я покосился на Амана и сказал:

— Спасибо, хозяин, мы подумаем...

Когда он ушел в ичкарн, мы посоветовались. Может, и вправду согласиться? Лучшего места, пожалуй, не найдешь, а с теми деньгами, что у нас есть, до Ташкента не добраться. Пока останемся, решили мы, а там поглядим.

— Если так, — сказал хозяин, когда мы сообщили о своем согласии, — за чаем особенно не расслаивайтесь. Один из вас останется в усадьбе, другой пойдет корову пасти на поле, где урожай собрали. Корова у меня наследственная, от отца покойного досталась, да продлит аллах ее дни. Хорошая корова, за ней как следует присмотреть надо. Ну, а тот, что останется, будет подавать чай, если гости придут...

Аману ужас как захотелось остаться в усадьбе. Он очень любит слушать под шум самовара, о чем говорят гости, сказал он. Можно услышать столько полезного, сколько за год в медресе не узнаешь. Зная, как он бегал всю ночь, я сообразил, что если морковь с машхурдой еще не

помирились, пасти корову ему и впрямь будет неважно. Я сжался над ним и сказал, что пойду с коровой.

Хозяин привел меня в хлев, показал небольшую рябую корову и велел ее вывести. Она вышла с таким покорным видом, что мне ее даже жалко стало. Бедная скотинка, подумал я, она так и на бойню полетится. Я вел ее за поводок, она следовала за мной, как послушная девочка. Мы отошли от усадьбы на порядочное расстояние и приблизились к зарослям камыша. Тут она немного замедлила шаг. Я обернулся. Она попятилась назад. Видно, устала, бедняжка, подумал я, и тихонько хлестнул ее прутиком. Тогда она грохнулась на землю, глаза у ней полезли на лоб, изо рта пошла густая пена, и вся она затряслась и задрогала ногами, как припадочная! Я сильно испугался — может, я попал прутиком по какому-нибудь больному месту, или ее вообще от рождения не били, или она сама собой подыхает? Только что я буду делать, если она сейчас отдаст концы? Я растерянно бегал вокруг злосчастной скотины. Позвать на помощь? Так ведь никого поблизости...

Корова продолжала биться, и я решил уже бежать за хозяином в усадьбу, когда она вдруг вскочила и помчалась, задрав хвост. Я на секунду остановился с разинутым ртом, потом кинулся вслед, но где мне было ее поймать! Недаром у нее было на две ноги больше, чем у меня. Она неслась, как два паровоза сразу. Чтоб не потерять ее хотя бы из виду, я бежал, не обращая внимания на вшивающиеся в ноги колючки.

«Наследственная корова, от покойного отца досталась», чтоб тебя серые вороны растерзали! Неожиданно она остановилась на почтительном от меня расстоянии и принялась как ни в чем не бывало щипать травку. Я выругался и стал медленно к ней подходить. Когда я оказался шагах в пяти, она опять взбрыкнула, как будто овод впился ей в самое сердце, и помчалась дальше. Отбежав, она с прежним невинным видом продолжила свой завтрак. Проклятая тварь просто меня дразнила! Я лег на траву, задрав ноги кверху, словно окружающее больше не имело ко мне ни малейшего отношения. И что вы думаете? Дьявольская скотина неслышно подобралась и боднула мою задранную ногу! Ну, это уж чересчур! Я вскочил и помчался за ней, как ветер, ухватив ком земли. Злость прибавила мне скорости, я догнал мучительницу и метнул свой снаряд, целясь ей в тощий зад. Попал я как нельзя более метко. Она

прямо-таки зарычала, повернулась ко мне мордой и пошла в атаку, выставив рога...

Так мы гонялись друг за другом до вечера, и я ни разу больше не смог ухватить ее за поводок. По-моему, за этот день я пробежал расстояние большее, чем от того поля до Ташкента. Беги я весь день в одном направлении, я мог бы уже оказаться дома. Я думаю, если эта корова перешла к моему хозяину по наследству, так только потому, что из упрямства решила пережить его покойного отца. А скольких людей она, наверное, уморила за свою жизнь! Страшно себе и представить! Только после захода солнца она слегка присмирела, и я, собрав последние силы, ухватил ее за поводок и потащил к усадьбе. Сколько мне пришлось вытерпеть, пока я привязал ее в хлеву, лучше уж и не рассказывать — вы не поверите.

Когда я пришел, Аман лежал на своей кровати. Вид у него был кислый. На мне тоже, верно, лица не было, но я решил бодриться.

— Ну как дела? — спросил я у Амана.

— Э, не спрашивай, — ответил он. — Объелся!

— Чем это ты объелся?

— О-о, тут такое было! Без тебя пришли гости, а хозяйки, оказывается, такие искусные поварахи — чего они тут ни наготовили: и манты, и тандыр-кебаб, и лагман, и халву... Пересчитать и то терпения не хватает. Ну, я, знаешь, между делом того отколупну, другого попробую, и так все время, чуть не лопнул. А потом гости разошлись, хозяин решил пойти долги получить с нескольких соседей. Дал мне счета под мышку, ну, мы и пошли. Заходим к одному, заходим к другому, все приглашают: «Садитесь, отведайте!» Они меня за байского писаря приняли и давай угощать! Не хотел я, но отказываться неудобно. Там и плов, и шурпа... Тьфу! И вспоминать тошно, не говори со мной о еде!

Пока Аман рассказывал, у меня просто слюни текли. Некоторые из блюд, что он поминал, я и не пробовал-то никогда, только названия слышал. Вот повезло человеку! Ну, ничего, авось и завтра будет день не хуже, надо только спровадить Амана с этой коровой. Пусть она сдохнет, эта припадочная, а я буду себе ходить со счетами под мышкой...

— А твои дела как? — спросил Аман.

— Мои-то?.. Во! Здорово!.. Эта корова, ну, чистая благодать, такая смиренная, такая послушная, отведаешь ее за

поводок, поставишь на меже, она щиплет травку, с места не сойдет, будто привязанная. Не видал еще такой скотины! Когда трава кончится, посмотрит краем глаза: «Можно дальше пойти?» Я ей рукой махну: «Иди, мол!», а сам валяюсь в тенечке. Да что! Самое жаркое время я под талом у арыка проспал, просыпаюсь, а она стоит на том же месте, кругом ни травинки, ждет, пока я глаза открою... Не корова, а одно удовольствие. Хорошо, что я тут не остался, измотаешься небось с этими гостями. Завтра опять пасти пойду.

Аман глядел на меня завистливым взором, издавая короткие восклицания. Изредка он хватался за живот и постанывал. Тут нам вынесли чашку холодной похлебки с простоквашей. Я подвинул чашку к себе, понимая, что Аман после таких редкостных блюд на это и смотреть не станет. Но он заметил небрежно:

— Ты мне оставь немного, мне эта штука будет кстати. Я сегодня такой жирнящей пицци наелся, все тяжелое, может, похlebка разбавит немного густоту в желудке. О-ох, прямо встать не могу! О-ох...

— Оста-авлю,— сказал я и, вспомнив про свое вранье, добавил: — Я и сам не такой уж голодный, проспал целый день.

Утром хозяин опять вынес две лепешки и кумган с чаем из джиды.

— Ну,— сказал он,— кто сегодня чем займется?

— Сейчас решим,— сказал Аман и зашептал мне: — Так и быть, я пойду с коровой, а ты имей совесть, останься вместо меня на угощение, а то у меня на второй день живот лопнет. Понял?

— Понял,— ответил я тоже шепотом, скрывая радость: ведь мне предстоял день, битком набитый едой, а ему — моя корова!

— С коровой я пойду, бай-ата,— сказал Аман и снова зашептал мне: — Ты только не забудь мой совет: когда хозяин перед гостями вынесет тебе пол-лепешки с слюзьмой, смотри не ешь. Это он думает: не накормить его, так он при гостях пожадничает, осрамит меня, что ни говори, голытьба. Ты смотри — поблагодари его, а от лепешки откажись, сыт, мол...

— Спасибо, что сказал, братец,— ответил я и, чтоб не остаться в долгу, тоже хотел дать ему полезные советы насчет коровы — не отпускать поводка или привязать ее к чему-нибудь... Но я испугался, что он заподозрит нелад-

ное и откажется идти в поле, и сказал вместо этого: — Я вчера весь день на голой земле пролежал, теперь поясница болит. Ты бы захватил с собой кровать. Там камыши рядом, поспишь в холодке как следует.

Хозяин тем временем ушел в ичкари. Аман отправился в хлев, отвязал корову, взвалил кровать на спину и ушел.

— Где Аманбай? — спросил появившийся хозяин.

— С коровой ушел, бай-ата.

— Ну и ладно, — сказал хозяин, — молодцы. Кончил чаевничать, пора и за дело...

Он дал мне кетмень, топор, тещу, повел за усадьбу и показал на два пня от старых тополей, срубленных почти вровень с землей.

— А ну, покажи свое усердие — выкопай эти два пня, зимой сами будете у костра греться! Вчера и Аманбай, дай бог ему счастья, поработал как следует — тоже два пня здоровых выкорчевал. Молодцы вы, честные ребята!

И он ушел. Я немного удивился, почему Аман не рассказал мне про пни, но решил, что он просто забыл об этом: остальные впечатления дня были слишком сильны! «Пока придут гости, выкопаю один пень, не убудет меня, — сказал я себе. — А там уж отдохну и отъежусь за милую душу!» Полный энергии, я взялся за дело.

Пень был небольшой и трухлявый. Но когда я его обкопал, то обнаружил несколько мощных корней, уходивших в землю, наверно, на версту. Корни были такие толстые и крепкие, что я возился с каждым, пока у меня не потемнело в глазах, пару раз чуть не отрубил себе ногу, а когда я кончал с одним корнем, рядом, казалось, вырос новый... Так я обливался потом на солнцепеке, конца пню не было видно, гости тоже не появлялись. Когда перевалило за полдень, хозяин вышел с половиной лепешки, намазанной сюзьмой.

— Работаешь? Молодец, молодец, на вот, поешь-ка, полакомься...

При виде лепешки я ощутил просто волчий голод, но вспомнил совет Амана. Действительно, зачем набивать живот всякой чепухой? Тогда для настоящей еды и места не останется.

— Спасибо, бай-ата, — сказал я, — что-то пока не хочется. Сыт, видно.

Хозяин не стал особенно уговаривать.

— Да,— сказал он,— молод еще, сила так и играет, видно, своих соков много!

Он ушел, унося лепешку, а я проглотил слюну и подумал, что эти подлые гости нынче слишком задержались. Может, еще куда-нибудь зашли? Впрочем, никуда они от такого угощения не денутся. Придут еще. На худой конец, и к должникам ведь пойдем или сами в гости отправимся... И я продолжал сражаться с проклятым пнем. Еле я с ним управился. Солнце начало клониться к закату, а гостей не было и в помине, хозяин тоже никуда не надумал отправляться. Я впервые почувствовал неладное. Неужели Аман наврал мне? Быть не может! Живот у меня подводило, руки едва держали топор, но делать нечего: я принялся за второй пень...

Он оказался податливей, к заходу солнца я его прикончил и даже сам удивился. Едва добрал я до усадьбы и повалился без сил. Через полчаса вернулся Аман: на спине кровать, сам серый, как застиранное полотно, в руках сжимает из последних сил поводок... Он молча протащился мимо меня в хлев, бросив по дороге кровать на землю, и привязал корову.

Хотя Аман первый меня надул (я сперва ведь и не собирался ему врат) и оба мы здорово поплатились, я все же чувствовал себя неловко. К тому же проклятая корова досталась Аману куда дороже, чем мне: ведь по моему совету он взял с собой кровать. Если оставить кровать и смотреть за коровой, кто-нибудь, еще не дай бог, кровать стащит. А если плюнуть на корову и кровать стеречь, корова в такие места заберется, что ее, пожалуй, и не найдешь потом. Поэтому бедный Аман целый день гонялся за коровой с кроватью на спине. Вся кожа на плечах у него была содрана.

Он уселся с таким злым и несчастным видом, что я попробовал было наладить отношения шуткой.

— Что, устал, Аманбай? — спросил я. — Он молчал. — Я тоже,— сказал я. — Твои гости не лучше моей коровы... Только вкусных вещей сегодня что-то было маловато! — Я засмеялся, но Аман на меня и не взглянул. — Ну, чего молчишь? Скажи еще спасибо, что сетка была не железная!

Тут он наконец посмотрел на меня, и глаза его зло сверкнули.

— Заткнись! — сказал он глухо.

Но я не стал обижаться.

— Эй, Аман! — сказал я. — Брось ты! Мы ж с тобой вдвоем, как два глаза, один без другого света не увидит! Помиримся? Мы ж оба виноваты! Слышишь, Аман?

Он вроде смягчился и даже кивнул, но по-прежнему старался на меня не смотреть.

— Уходить отсюда надо, — буркнул он.

— Да у нас же ни денег, ни еды!

— Ну и что... Не умрем с голода по дороге. Здесь тоже не жирно кормят...

— Да, не объешься! — сказал я и снова засмеялся. Аман насупился. — Ну ладно, — сказал я. — Только что ж мы, с пустыми руками так и уйдем?

— А что ты придумаешь? Может, крышу сломаешь и усадьбу ограбишь?

— Ну, ограбить не ограблю, а за работу нам кое-что полагается... Только что бы взять?

Как ни говори, а домла и ишан кое-чему меня научили. Я смотрел теперь на вещи, как в известной пословице: «все, что без хозяина, принадлежит афанди». Я стал внушать Амону, что, присвоив себе какое-нибудь хозяйское добро, мы только восстановим справедливость: разве он не натравил на нас эту проклятую корову, не предупредив ни словом? Наконец Аман согласился. Оставалось решить, что именно мы возьмем? Хватать любую дрянь тоже не имело смысла. И тут вдруг мне пришла в голову прекрасная мысль. Мы зарежем рябую корову!

Когда я предложил это Амону, у него даже глаза посветлели, так его обрадовала моя идея. По-моему, именно об этом он мечтал весь день, только боялся сам себе признаться.

— Здорово, — сказал он. — Так мы и хозяина накажем, и корове отомстим, и целой горой мяса запасемся! Продадим, и на вырученные деньги домой доберемся...

Аман так повеселел, что, казалось, окончательно простил мне и корову и кровать.

Мы размышляли о мясе. Оно представлялось нашему голодному воображению то вареным, то жареным, то горячим, то холодным... И когда нам вынесли на ужин чашку молочного супа с тыквой, мы почувствовали во рту кислый вкус разочарования. Однако суп мы выхлебали до капельки, тем более что хозяин, заметив, видно, наши разочарованные физиономии, стал выхвалять чудотворные свойства тыквы и кончил утверждением, что кто ест тыкву, никогда не попадет в ад.

После ужина хозяин запер ворота на замок и ушел в дом. Мы улеглись на свои места и, конечно, заснули. Но Амана, видно, снова разбудил его живот, а сам Аман уже разбудил меня. Было, должно быть, около полуночи. Мы встали и на цыпочках пошли к хлеву. Аман боязливо оглядывался, в каждом углу ему чудилась подстерегающая тень. Я чувствовал себя свободнее — как-никак, а на моем счету был уже имамов ишак!

Луна спряталась за тяжелым, толстым, как ватное одеяло, темно-серым облаком, и мы вошли в хлев. Ощупью подобравшись к рябой корове, мы стали шептать ей разные лицемерные любезности, чтоб она не встревожилась и не замычала. Но это вообще была молчаливая корова, хотя и зловредная. Тут Аман передал мне топор, я размахнулся и стукнул ее обухом по черепу! Она так и грохнулась оземь.

Странное дело, она доставила мне столько неприятностей, что я должен был испытать сладкое чувство удовлетворенной мести, когда она грохнулась на землю после моего удара. Но ничего подобного я не ощутил, наоборот, мне стало как-то не по себе, не то чтобы жалко эту сумасшедшую корову, просто нехорошо сделалось, и как раз от мысли, что теперь-то она уж никого не заставит поиться за собой!

Амана, видно, обеспокоил только шум падения, он засуетился в темноте, прислушиваясь. Но все было тихо.

Мы еще постояли, потом я взял у Амана нож — нож у него был что надо, недаром его отец ножи делал, — провел несколько раз по своему бедру... Я и сам теперь не понимаю, как это нам удалось в темноте выпотрошить тушу, снять шкуру. Мы отобрали пуда три лучшего, без костей, мяса, опорожнили мешок со жмыхом, стоявший в хлеве, и уложили мясо в мешок.

Теперь предстояло выбраться из усадьбы. Поскольку ворота на запоре, единственный путь — через крышу хлева, прилегающего к дувалу. Один из нас заберется с помощью другого на крышу, а потом веревкой вытащит мешок с мясом и товарища. Мне было все равно, кто полезет первым, но Аман настойчиво предлагал свои услуги, и что-то в его тоне меня насторожило. Однако я не подал виду.

Луна уже зашла, на дворе было темным-темно. Я встал у стены, Аман влез мне на плечи и, уцепившись, легко оказался на крыше.

— Ну, давай скорей! — сказал он громким шепотом.



Я должен был кинуть ему конец веревки, привязанной к мешку с мясом. Но в голосе его прозвучало столько зло-радного, почти не скрываемого торжества, что я все вдруг понял! Он собирается отомстить не только хозяйину, по и мне: сейчас я подам ему мешок с мясом, он возьмет его — и был таков! Меня он вытащить и не подумает! Я чуть не выругался вслух, так уверовал в его предательство. Ну, погоди же!

— Погоди,— сказал я,— веревка вроде развязалась...

Я быстро развязал мешок и начал лихорадочно выбрасывать из него мясо.

— Ну, чего ты там возишься? — прошипел Аман с крыши.

— Сейчас...— сказал я. Я как раз привязывал веревку к концам мешка. Потом влез в мешок, затянул другой конец веревки, продетый в дырки, наподобие шнура, и крикнул:

— Тяни!

Аман, видно, испытывал такое нетерпение, что не обратил внимания на странный звук моего голоса. Он потащил веревку, мешок дернулся, я повис вниз головой — и пошел вверх, задевая о стенку. Я весил около трех пудов, как и мясо, которое выбросил, так что Аман ничего не заподозрил. Втащив мешок на крышу, он передохнул, потом нагнулся и крикнул как раз около моего уха:

— Ну что, попался теперь? Это тебе и за баранов, и за корову — за все! Попробуй теперь держать ответ перед хозяином, ловкач!

Ах, подлец! Я едва сдержался, чтобы не рвануться из мешка, но сообразил, что это плохо для меня кончится. К тому же, я отомщу ему куда злее... Он торопливо подтащил мешок к краю крыши, спустил меня на веревке за дувал, потом я услышал, как он спрыгнул рядом. Он поднял мешок, еле-еле закинул меня на спину и зашагал...

Я скоро начал задыхаться, меня поддерживало только сознание, что я еду верхом на Амани. А он едва тащился, то и дело останавливаясь и опуская мешок с протяжным «уф-фф». Мне казалось, мы движемся уже целую вечность. Аман, надо полагать, был того же мнения.

Наконец сквозь ткань мешка я различил, что как будто начало светать. Послышались утренние звуки: какая-то птица проснулась и радостно свистнула, зашумел ветерок в траве, заглушая мягкие вздохи пыли под ногами Амана. Потом я услышал голоса приближающегося кишлака. Со-

бака где-то твякнула... ближе... Вот она бежит рядом... я различаю ее прерывистое дыхание. Аман остановился, я понял, что это из-за собаки. Опа, должно быть, находилась в раздумье. Аман сделал шаг — и собака вдруг залилась адским лаем! Ей тотчас ответили другие, собачий хор рос и совершенствовался на ходу. Собаки явно окружали нас со всех сторон. Аман, конечно, здорово перепугался. Но что Аман — представьте мое положение! Ведь и нарочно для человека страшнее казни не придумаешь, чем завязать его в мешок и пауськать собачью свору! Самое ужасное, что собаки куда догадливее Амана и давно знают: в мешке вовсе не говядина. Может, это их так и расстроило?.. Я бы сразу подал голос, но боялся, что Аман от испуга бросит мешок, и тогда я совсем пропал. Аллах, однако, судил иначе: Аман шагнул, собаки кинулись, одна вцепилась в мешок — и в мою ногу! Тут я забыл всякую осторожность и завопил:

— Карау-ул! Подними мешок повыше, дурак!

Аман совершенно ошалел. Я думаю, вы бы тоже ошалели, заговори у вас за плечами три пуда свежей говядины. На мое счастье, он слишком растерялся и не бросил мешок на землю, а действительно подтянул его выше, как я сказал. Услышав мой голос, и собаки опешили — может, им тоже раньше не попадались говорящие мешки? Я крикнул Аману:

— Развяжи мешок, болван!

Он повиновался, опустил мешок на землю, развязал. Когда я вылез, охая, он смотрел на меня, выпучив глаза, и повторял, как слабоумный:

— Это ты?.. А где мясо?

У него был такой смешной вид, что я не выдержал и расхохотался, хотя мне было вовсе не до смеха.

— Где мясо? — сказал я. — Съел! Что, не видишь, как я поправился!

Он все еще не мог прийти в себя, собаки тоже. Такого им и впрямь видеть не приходилось: был один человек, стало два. Они замолчали и стали расходиться.

Я, прихрамывая, пошел по дороге, Аман потащился за мной...



## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### У ЗВЕЗД СВОИ ИСТОРИИ

Аман очухался не скоро, но теперь он шел рядом со мной, и я видел, как он прямо на глазах раздувается от злости. Проходя мимо старой вишни, росшей на обочине, он отломил большую ветку, похожую на кнутовище, и стал ее обтачивать с обеих сторон своим распрекрасным ножом. «Как бы эта палка по мне не прогулялась», — подумал я и решил тоже запастись



оружием. Ничего подходящего поблизости не попадалось. Наконец я сломал саженец урюка.

— Эй, друг милый, — сказал я, — одолжи-ка свой нож, палку построгать.

— Опоганишь нож, поганый! — сказал Аман.

— Это я-то поганый? Да я сколько с тобой ходил, ни разу не видел, как ты купался! Ты и воды боишься больше, чем курица! Плеснешь на лицо из арыка, так и то передернешься, как наркоман.

— Молчи лучше!

— Чего это мне молчать? Если я поганый, так ты какой? Я-то недавно в речке выкупался, одежду со щавелем постирал, а ты? Прошлогодную грязь еще с собой таскаешь!

— Я сказал, молчи!

— Он сказал! Хо-хо! Слушайте, мусульмане!

— Сейчас как заеду палкой!.. Ты не поганый, ты хуже: самое что ни есть нечистое отродье! От твоего намаза на небе три раза отплевываются! У-у, нечистый!

— Я нечистый, ладно, а ты всякого нечистого грязней: предатель! Товарища продать хотел!

— Тебя продавать — никто не купит!

— погоди, я еще с тобой не рассчитался!

— Ну-у?.. Чего ж ты ждешь?

— Рассчитаюсь еще, времени хватит.

— Трус!

— А ну, скажи еще раз!

— Еще десять раз скажу: трус! трус! Ну, что ты делаешь?

— Сейчас увидишь, что я сделаю! Гад! Хотел с мясом удрать, а меня на расправу оставить! Еще говорит — я нечистый!

— Конечно!.. Мне... мне пророк во сне велел так поступить, чтобы от твоей беды отвязаться...

— Ну-у? Сам пророк? Во сне? Это он спал или ты спал? Что ж ты его получше не расспросил? Гляди, как оплошал! Думал, мясо тащишь, уже небось подсчитал, за сколько его продать, а глядишь — в мешке-то я! Ха-ха-ха!

— Молчи, говорю!

— Хо-хо-хо! Говядина заговорила... Ха-ха-ха... от испуга аж язык изо рта вывалился...

Аман, весь кипя, замахнулся на меня палкой, я отскочил и продолжал над ним издеваться:

— А ты небось в мечтах уже расторговался и разделся, как байский сын, а? Ну-ка, расскажи, чего ты накупил?

Видно, я попал наконец в самое больное место.

— Ах ты... — сказал он, захлебнувшись яростью, и снова кинулся на меня с палкой, но я опять отскочил. Глаза у него так вылезли из глазниц, что казалось, вот-вот и совсем вывалятся. — Тебе что, оборванец! — закричал он, наконец обретя дар речи. — Ты в чем хочешь домой вернуться! А мне людей стыдно! Что люди скажут — ходил-пл, рабо-отал, только на лохмотья и заработал! У-у, за что меня аллах наказал, что я с тобой встретился! Заработал бы себе честно деньги, купил бы халат, шапку с лисьим мехом... Да если б не ты, я бы уже барана имел, а у кого баран — со временем лошадь будет, у кого лошадь — может верблюда купить...

Он так искренне убивался, что одно удовольствие было смотреть.

— Ах ты, бедненький! — сказал я. — Бедняжка! Ограбили тебя! Разорили! Ну ничего, ты не огорчайся. Поступишь учеником к канатоходцу, он тебе бархатные штаны сошьет. А то к кочегару наймись, у огня ни халата, ни шапки не надо... А что касается барана...

Аман заревел, как бык, и погнался за мной, но я увернулся, остановился поодаль и продолжал:

— Ты послушай, Аманджан: что касается барана, кобылы, верблюда, зачем они тебе? На них корму не напасешься! Да еще сарай им построй. Ты лучше по базарным дням на скотный базар ходи. Во-о! Представь, что это твой хлев, а весь скот твой собственный. А если мало покажется, еще и цирк есть! Знаешь цирк Юпатова? На билет у тебя, конечно, не найдется, но ты в щелку посмотри... Если мало верблюда, считай, что слон тоже твой! Только сторожа берегись, сам знаешь, какая плетка...

Аман так и приплясывал на месте, выбирая момент, как бы на меня броситься поверней. Он был сильнее меня и тяжелей, зато я — легче на ногу. Я-то знал, что ему меня не догнать. Но он вдруг сник, словно из него выпустили воздух, опустил руку с палкой и сказал, сплюнув:

— Лучше иметь вымя дохлой коровы, чем такого товарища. Хоть мыловар бы деньги заплатил... Катись к черту! Лишь бы мне и на том свете твою противную рожу не увидеть... — Он повернулся и пошел назад по дороге.

Хо, куда это он пойдет? Вернется обратно? Его поймут люди бая, у которого мы корову зарезали, сдадут полицейскому, и пройдет у него вся жизнь в Сибири. Нет, побродит, как собака, и опять пойдет той же дорогой... Я крикнул ему вслед:

— Э, мулла Аманбай, не будет ли у вас письмеца вашим дружкам — чабанам или коноводам? Или вы с баями водитесь? Кому привет передать — Арифходже-ишану? Или Махсудхану-думе? Или Гулямхану-кази? Эй, мулла Аманбай!

Но он продолжал идти, ссутулившись, не оборачиваясь, не отвечая ни слова. По правде говоря, моя злость на него уже прошла, мне жалко стало, что он уходит. Опять оставаться одному на дороге! Как теперь идти? И куда?..

Нет, в самом деле, куда? Я издевался над Аманом, но теперь слова его показались мне не лишены смысла:

как же это, правда, после стольких недель отсутствия, вернуться домой в нищенских лохмотьях?

Мать, со своим вдовьим хозяйством, и так намучилась за это время, а тут ей на голову свалится еще один едок без единого мирра в поясном платке! Да и ждут ли меня еще? А с другой стороны, мы ведь с Аманом решили идти в Ташкент. Действительно, здесь нам больше ни заработать, ни прокормиться, слух о наших похождениях, наверно, уже по всей округе прошел! Ни в Ишанбазар, ни в Кок-Терак, ни в другие близкие места мне и показываться нельзя. Только и дорога что в город, в Ташкент.

К тому же одно я знал твердо, да и вам уже говорил: у кого душа с воробья и силенки те же, тому нет ничего лучше, чем затеряться в толпе. А где найдешь настоящую толпу? Не в кишлаке же? Там ты на виду, как муха в похлебке, а в городе человека найти не легче, чем блоху в овчине.

Город...

Я брел по дороге и думал о городе. Кушцы, полицейские, нищие. Видели вы реку после того, как в нее сель сошел? Мутно-желтый поток несется как оголтелый и чего только с собой не тащит! Закрутит меня этот поток, как щепку. Может, и не утону — щепки не тонут, — только уж больно противно плыть в такой мутной воде. Нет, оказывается, вовсе не люблю я город! Весь он такой вонючий, точно котелок наркомана. Опять те же немытые, расплывающиеся от жира физиономии байских сынков, что с аршинами в руках лениво караулят покупателя в своих лавках; те же длинные-предлинные торговые ряды, утопающие в жаре и душной пыли; перекупщики с вороватыми глазами, бегающими, словно у kota, который спер бараний курдюк; нищие, тощие, как тень хромого аиста, — они бредут и в одиночку и гурьбой...

Нет, не люблю я город. Говорят, сын одного казаха, пройдясь с отцом по галантерейному ряду, спросил:

— Ата, а что делают эти люди?

— Э, сынок, в базарный день они обманывают парод, а в будни — друг друга...

Но что делать? Небо далеко, земля тверда, а тут еще и холода на носу, зима подойдет, волоча свой меч. А ведь я не тандыр какой-нибудь на заброшенном дворе, чтобы зевать зимой и летом, рта не закрывая. Это только курице хватает проса да воды в луже. Человеку много чего надо... Я вдруг заметил, что дорога, прежде, в знойные дни, обжи-

гавшая пятки, стала прохладнее, и пыль уплотнилась, не поднимается от каждого шага или дуновения ветерка, и вода в арыках прозрачная, как стекло. Скоро ночи совсем похолодадут, роса превратится по утрам в иней, а края арыков обрастут тонким слоем зимнего «сала».

Я иду и думаю — о себе, о матери, о сестренках. Всем нам плохо живется, а по чьей вине? Да, по чьей? Не по моей ли? Я-то почему стал таким никудышным парнем? Мне бы пойти куда-нибудь в ученики или хоть мальчишкой на побегушках, а я вместо того шляюсь по дорогам без толку. Только ноги мои, две мои босые, почерневшие ноги знай двигаются себе, как падающие бревна на водяной рисорушке: одна — другая, одна — другая... И ничего не меняется, ничего нового вокруг — дорога, безлюдье, тишина...

Э, не колокольчики ли это каравана вдали? Прислушаемся... Так и есть. Поистине, нет на свете лучшей музыки для одинокого путника, чем этот мелодичный перезвон! Сперва дальний, замирающий временами, а потом все ближе, все звонче, но по-прежнему такой нежный, как будто и не верблюды идут, а сами ангелы господни, чтобы показать тебе быструю и легкую дорогу.

Когда подходит караван к порогам дальним Нила, сама заря, сама заря спешит ему навстречу.  
И колокольчики звенят так сладко и уныло:  
«Гул танг! Гул танг...» — грядущий день свои заводит речи.

А караван — верблюдов пятнадцать — меж тем действительно приближается. Каждые пять связаны одной веревкой, концы веревок держат старик и молодой парень, важно восседающие на ишаках. Верблюды нагружены сеном. Я отошел к обочине, а когда караван оказался совсем близко, вышел навстречу и спросил с поклоном:

— Куда путь держите, ата?

Я не успел услышать ответного приветствия, как на меня с громким лаем бросилась собака. Хорошо, что она была привязана, собак мне на сегодня и без нее хватало.

— Что это ты здесь делаешь, сынок? Да будет к добру встреча с тобой! — произнес старик.

— Ох, ата, хотел в город попасть, да не рассчитал время, вот жду попутчиков, мое счастье, что вас встретил...

— Там, в степи, еще один шагает вроде тебя, сколько же вас всего, ты скажи, сынок, я буду знать: отвязывать собаку или нет...

— Ой, ата, что вы, зачем отвязывать собаку, я собак не переносу, у меня от них волдыри по всему телу идут! А того, кто в степи плетется, я и знать не знаю. Я смиренный раб божий, даже мухи не обидел! Не хотите взять меня в попутчики — что ж делать, я следом пойду, я же только просить вас могу, разве я заставляю?..

— Ого! — сказал старик. — Ты, видно, мастер языком чесать! Но если ты не знаешь того, второго, что в степи идет, чего ж он тебя-то ругал на чем свет стоит?

— Да разве ж я знаю, ата? Ругал, ну и пусть себе ругал, не все ли мне равно, раз я не слышу? Пускай говорит, что ему в голову взбредет, может, у него от ругани кишки наполняются.

Старик засмеялся.

— Значит, ты его так-таки и не знаешь?.. Ну ладно, шагай рядом, что с тобой поделаешь.

Я пошел рядом со стариком. Он изредка поглядывал на меня испытующе, а парень, ехавший сзади, кидал и вовсе подозрительные взгляды. Собака тоже долго не могла успокоиться.

Так мы и двигались довольно долго, в полном молчании. День уже клонился к вечеру, на ясном небе появилась бледная, как облачко, луна, точно бедная родственница раскаленного светила. Она держалась скромно и незаметно, до поры, когда хозяин неба уйдет на покой. А уж тогда она себя покажет, округлится по-хозяйски да и пойдет заглядывать во все уголки вселенной, на все посмотрит, ко всему приценится.

Я смотрел на луну и лихорадочно придумывал, как бы половчей завести разговор. Старик сам не заговаривал, мне было ужас как неловко, да и вообще путешествовать так долго в молчании, когда есть с кем поговорить, — не такое уж сладкое дело.

— Атахон, — сказал я наконец, — а как называется та яркая звезда, что вечером первая на небе появляется?

— Хо-хо, хитрый ты, видать, паренек. Хочешь названия звезд узнать да и волшебником заделаться?

— Что вы, атахон, каким таким волшебником?

— Известно каким: как глянет на звезды, так дождь и пойдет! — И старик добродушно рассмеялся. Я осмелел.

— Как же она все-таки называется, ата?

— Это ты про ту, что вон там скоро загорится? Ее зовут Зухра, сынок... Да-а, у звезд, брат, свои истории. Эта звезда была дочерью одного бедняка. Когда родители у нее



умерли, падишах заслал сватов, а она, надо тебе сказать, была красавица из красавиц! Ну, Зухра и говорит: «У меня, говорит, есть возлюбленный, я за него и выйду». Сам понимаешь, падишах разозлился. Велел найти ее возлюбленного и повесить. Конечно, так и сделали. Виселица была высокая-превысокая, длинная-предлинная! Вот ночью девушка пришла к виселице и стала карабкаться вверх. Уж она карабкалась, карабкалась, лезла, лезла, взобралась на самый верх,— а там и до неба рукой подать! Ну, думает, что мне на земле теперь делать? Побуду на небе, пока на земле злых падишахов не станет, а там и спущусь обратно. Вот она все и заглядывает утром и вечером на землю — как, мол, дела там? Не пора ли возвращаться? Нет, видно, не пора... Только с той поры она приносит счастье всем, кто встречает зарю. А кто проспит, тот счастье и прозеваает!

Я слушал старика, разинув рот. Подумать только, сколько интересного на свете, а я и понятия об этом не имею. Если про каждую звезду расскажут, так можно тысячу дней и ночей слушать! Повезло мне! А старик между тем провел в воздухе рукой, словно чертил на небе линию, и сказал:

— А вон там, на севере, звезда взойдет — это, сынок, Полярная звезда. Она ось неба. Кто на нее путь держит, никогда с дороги не собьется! Запомни это.— Он снова провел рукою над собой, словно разделяя небо пополам.— А светлую полосу, что через все небо идет, знаешь? Это, сынок, Млечный Путь! С тех пор, как дороги на земле есть и люди по ним ходят, каждый день они под Млечным Путем странствуют. А вроде как и по нему идут. Да-а...— Он вздохнул.— Я был мальчиком, как ты, и состарился, а он все такой же, словно кто проехал, да и мелкий саман рассыпал... Ну как, все понял, мальчик-волшебник?

Начало смеркаться. Звезды, о которых говорил старик, одна за другой появились на небе. Скоро мы остановились на привал. Старик радушно пригласил меня к ужину, только парень все молчал и косился. Может, он опасался, что ночью я уведу верблюда?.. Я скоро уснул и проснулся на рассвете: старик растолкал меня.

— Вставай, сынок! Пошли. К вечеру надо добраться до Ташкента!

Этот день минул незаметно. Вот что значит интересная беседа! Во всю жизнь не забыть мне того, что слышал я тогда, шагая рядом с этим стариком пыльной дорогой.

Когда к вечеру мы действительно оказались у Чигатай-дарбаза — северных ворот Ташкента, мне сразу стало грустно при мысли, что придется расставаться со стариком. Казалось, я знаю его давно, с незапамятных времен...

Колокольчики на шее переднего верблюда печально перезванивались, и звон раскалывался о глинобитные стены улиц. Когда мы проезжали мимо мечети Тухтаджанбая, раздался протяжный и на редкость гнусавый голос суфи. Суфи стоял, высунувшись до пояса, на башенке мечети.

— Хайна хананхала... хайна хананхала... — звал он, тужась.

Собака старика за свою долгую жизнь не слыхала, видно, такого противного голоса даже в своей собачьей компании. Она испугалась и завyla, присоединившись к голосу суфи. Старик ткнул ее палкой, она замолкла.

— Какой хороший голос, ата, — сказал я, робко усмехнувшись.

Старик покосился на меня.

— Аллах наградил беднягу сразу двумя недугами: и гнусавый он, и суфи, вот он, сынок, и надрывается...

На базаре, около обувного ряда, мы со стариком распрощались. Он со своими верблюдами отправился к караван-сарая, я решил перебиться где-нибудь в торговых рядах. Однако мне не повезло. Еще когда я со стариком шел, я заметил, что собака его боится базара. Она брела, поджав хвост, и все льнула к ишаку, на котором ехал хозяин. Я думал, ее пугают сторожа, которые стояли на каждом шагу, заложив насувай под язык, и, грозно шепелявя, спрашивали: «Кто иде-ет?» Дело было, однако, не в сторожах, а в целых полчищах бродячих псов, которые шлялись по рынку. Я убедился в этом сразу, как свернул в мясные ряды.

Тамошней сворой предводительствовала большая черная дворняжка. Увидев меня, она грозно зарычала, давая понять, что до сих пор здесь прекрасно обходились без меня, а если я в этом не уверен, ее свита представит мне самые убедительные доказательства. Я не стал спорить, вежливо извинился и повернул к мыловаренному ряду. Здесь своя свора, и манера обращаться с посетителями у нее, пожалуй, еще внушительнее. Тут действуют по принципу — «все против одного». Когда я это уловил и проявил некоторую поспешность, давая задний ход, — проще говоря, побежал со всех ног, они помчались за мной всем ско-

пом. Я остановился, — они меня окружили. Так они и вывели меня за пределы мыловаренного ряда, ни на секунду не оставляя в одиночестве. Это было более чем любезно с их стороны, и я вполне оценил их тонкое воспитание.

Быстренько миновав старую женскую баню, я пошел было в гончарный ряд... Слава аллаху, и там свои собаки! Откуда их столько набралось за время моего отсутствия? Может, нынче год собаки, что на них такой урожай? И потом — что за подозрительность? Ну, ладно, в мясном ряду они еще могли меня приревновать, думая, что я собираюсь разделить с ними обрезки или кости. Это еще понять можно. И в мыловаренном ряду они могли опасаться за свои оскребки. Но та свора, из гончарного ряда, ей-то что? Пустой хум, что ли, я съем, или глиняное блюдо без плова, или гончарную трубу, по которой и воду-то еще не пустили?

Оскорбленный до глубины души, я миновал Каппан и вышел к мечети Хасты-Уккоша, туда, где начинается базар Махкама. Я знал все эти места, как свои пять пальцев, но сегодня они показались мне какими-то новыми, чужими — то ли после долгого отсутствия, то ли оттого, что в такой поздний час я здесь не проходил никогда. Я стал вспоминать, что Уккоша — это имя одного человека. Говорят, он был военачальником у арабов, когда они завоевывали наши края, и погиб здесь — стрела его пробила, а стрелу пустил кто-нибудь из наших предков. Потом арабы и построили на его могиле мечеть. И надо же, теперь сюда шлят целые толпы паломников. И камни целуют, и могиле его до земли кланяются, а ведь он убивал наших прапрадедушек, и города разорял, и скот угонял, и вообще плевать хотел на нас, не то что там излечивать или еще что. Недаром говорят: отдай мать тому, кто твоего отца убил. Так оно и получается. Теперь к нему так и прут за излечением, и все ради какого-то паршивого родника, который бьет из-под его могилы. Я этот родник видал — я видел еще уйму родников получше, из них, по крайней мере, вправду вода идет, а не струйка, как из младенца. Так ведь нет, никто к тем родникам не идет за тридевять земель, всем сюда надо, хотя, если разобраться, при такой куче народу каждому и по капле не достанется. А еще говорят, что для исцеления полагается в той родниковой воде искупаться — как же, искупаешься в ней, легче в ложке с головой окунуться. Не поймешь этих взрослых,

вроде все они знают, а иной раз такой чепухой занимают-ся, что мальчика смех разбирает!

Обогнув Хасти-Уккоша, я вышел к пекарне, где пекут лепешки... Ну, это дело другое. Тут и ночью светло, как днем. Из тандыров, точно из разинутых черных пастей каких-то присевших чудовищ, вырываются языки красного пламени. Люди в легких летних халатах из буза, с открытой грудью, с повязками на голове, то и дело чуть не по пояс залезают в пылающую внутренность тандыра и вынимают румяную горячую лепешку. Ах, какая это лепешка! Жизнь отдать не жалко! Луна, а не лепешка! Так и кажется, что не пекарня это, а волшебная кузница, которую солнце построило себе где-то за черными горами, и вот, один за другим, выковывают здесь золотые диски, да и складывают про запас, чтобы было что запустить в небо, когда нынешняя луна сойдет на нет...

Ах, какие лепешки! Мука высшего сорта, и пухлые их бока так и пышут румянцем, а в середке черные зернышки — точно огромный тюльпан распустился до конца и вот-вот осыплется. Сесть бы здесь, возле журчащего арыка, поставить перед собой целую корзину этих свежеиспеченных красавиц и без всяких церемоний, запросто, ломать и есть, макая в воду, да чтобы их в корзине не убывало, как воды в арыке... А потом, наевшись досыта, встать, потянуться, сказать пекарю «спасибо» вместо платы, да и зашагать дальше своей дорогой.

Но я человек скромный, мне так много не надо, меня насытит и этот чудесный запах печеного. Устроюсь здесь, около пекарни, и буду вдыхать его всю ночь, до самой зарн...

Я наслаждался недолго. Мимо меня прошел в пекарню старик лет шестидесяти, чуть сгорбленный, с перекинутым через плечо платком, в кавушах из сагры, начищенных до блеска нутряным салом. Минут пять спустя он вышел обратно, платок его превратился в целый узел лепешек. Он внимательно посмотрел на меня и спросил:

— Эй, сынок, не сможешь лепешки донести?

— Донесу, ата,— сказал я, взял у него узел и взвалил на спину.

Так мы и двинулись: он впереди, я сзади. В руках у старика был посох, и старик не давал ему скучать: все бумажки и тряпицы, попадавшиеся под ноги, он переворачивал кончиком своей палки, видно, проверяя, не спрятано ли под ними золото или свеженькое послание самого

пророка, а потом поднимал и засовывал в трещины дувалов.

Я вышагивал сзади, с огромным горячим узлом на спине, и думал, достанется ли мне хоть кусочек лепешки, или я так и расстанусь с ними, не познакомившись, как ишак, который перевозит книги? И зачем этому старику столько лепешек? Той у него, что ли? Да нет, для тоя все же маловато, а для семьи много, хотя кто его знает, какая у него семья. И чего он встал так рано, когда еще и куры не сошли с пасеста? Мы шли какими-то улицами, потом свернули к оврагу и пошли вдоль арыка. Старик приветливо заговорил со мной, голос у него был мягкий, приятный:

— Что это ты спозаранок бродишь, сынок? Потерял что-нибудь, а?

— Да нет, ата, я из степи ночью пришел.

— Вот как, из степи! Ну, что ж, так оно и бывает. И воробей, отведавший ташкентского проса, прилетит обратно из самой Маккатуллы. А родители у тебя есть?

Ну чего он ко мне пристал? Чтобы отвязаться, я сказал:

— Нет, ата, умерли.

— Да, вот так оно и бывает. Родители — они не вечны. Ну ничего, говорят, ласковый теленок двух маток сосет. Вот и ты, если будешь проворным, найдешь себе нового отца. А если отец нашелся, мать и сама придет... Самый трудный перекресток ты, сынок, благополучно миновал, дальше оно уже проще! Одно худо — дурных людей много развелось. Ну, не беда, были бы мы сами хороши, верно? Ты, я вижу, босиком ходишь? Не огорчайся, на быстрые ноги кавуши найдутся. Только ноги надо беречь! Так-то вот оно...

Он говорил быстро и все в одном ласковом тоне, точно тихая вода текла. Я шел молча и слушал.

— Да, сынок, — говорил старик, — вот уж больше года, как война пачалась, знаешь небось? С тех пор цены на все поднялись, и на обувь тоже, так-то вот оно, сынок. Цари, видишь ли, спокойно жить не могут, лихорадки на них нет. Хоть бы вот наш белый царь, что ему надо: жил бы себе мирно, управлял страной, ел бы мороженое, вешал бы злодеев на виселице да с женщинами развлекался! Так нет же! Война! А ведь все у него есть, подданные перед ним мягче, чем воск на солнце, да и полицейские наготове, как меч на боку: только скажет «взять» — готово, уже взяли.

А ишаны и улема за него пять раз в день молятся, денег ему аллах мешками посылает. Все богачи ему готовы богатства добавить, вот ведь, сынок, чего еще человеку надо? Так нет — война! Воюет, истребляет парод, города рушит, видно, хочется ему стать шахом на пустыре...

Последние слова старик бормотал нараспев, обращаясь явно уже не ко мне, а так, в пространство. Потом он умолк ненадолго. Конечно, я тоже шел молча. Вдруг старик зашел:

Ах, есть ли кто, чтоб мать не потерял,  
кто б не утратил юность и отца,  
кто имя мест родных не повторял  
в чужом краю, в скитаньях без конца?

Он поперхнулся, и песня оборвалась, но тут же забормотал снова:

— Эх, да паду я жертвой за шейхов! Мой отец покойный два раза совершал хадж, последний раз и меня с собой взял. О-о, испытали мы долю скитальцев на чужбине! Да ведь, не испытав ее, человек не станет мусульманином, так говорили святые угодники... Да, так вот оно и бывает. — Он вдруг оборвал свое бормотание: — Ты сам из какого кишлака?

— Я? Я... из Учкургана.

— Так, значит, не встретился бы я тебе, встретил бы ты свою мать в Учкургане? Ай-яй-яй... Доводилось тебе учиться у какого-нибудь домуллы?

— Доводилось... Только я сбежал на половине «Суфи Аллаяра».

— Да, вот оно как, сбежал, значит, на самом интересном месте, а, сынок?

— Видно, так, ата...

Старик набрал воздуха и снова зашел — «Касыду ада» из «Суфи Аллаяра», я ее сразу узнал:

Мост перекинут через серый ад,  
извечный мост по имени Сират.  
Острей меча оп, тоньше волоска:  
путь в рай тяжёл,  
дорога в ад — легка.

Старик снова поперхнулся, как в первый раз, и умолк. Мне вдруг стало тошно, сам не знаю почему. Я решил удрать и сказал:

— Ата, подержите чуточку ваши лепешки, напьюсь из арыка, очень пить хочется...

Старика прямо передернуло.

— Что! — сказал он. — Воды напьешься? Да у тебя что, жир лишний завелся или ты казы поел? Идем, нечистое отродье, сейчас чаю напьешься! Воды захотел! Ах ты, господи, прямо мороз по коже! В месяце саратан ему руки лень лишний раз помыть, а тут осень на дворе, раннее утро, и он натошак ледяной водой соблазнился! Тьфу! Что ты, от гусей родился?

Я удивился — чего это он так накинулся на меня из-за холодной воды? Ничего не поделаешь, пришлось за ним идти: как-то неловко было бросить его лепешки на середине дороги. А он все шел впереди, продолжая на меня ворчать. Наконец мы остановились у двери низенького, полуразвалившегося дома на краю оврага. Я опасливо поглядел на дом. Старик обернулся:

— Ну, что пятишься назад? Так вот оно и бывает... Заходи, сынок, заходи...

Меня охватила беспричинная тревога.

— Ну и ну! — сказал старик. — Что ты вытаращил глаза, как теленок на тигра? Здесь не бойня. Медресе тут, медресе. Так вот оно и бывает. Не доучился ты грамоте — вот здесь и доучись...

## МОЕ МЕДРЕСЕ

Пригнувшись — с опаской, хоть и не зная, чего это я опасуюсь, — вошел я в низенькую, почерневшую от дыма дверь. В помещении стоял едкий, режущий глаза запах. В переднем углу возвышался кипящий самовар средних размеров, какой бывает в маленьком хозяйстве, посредине компаты стоял мангал с огнем, а вокруг него — с полдюжины потрескавшихся, с отбитыми носами чайников. Половину комнаты занимали невысокие, пяди две от земли, деревянные нары, на них уселись в круг шесть человек. На улице было уже солнце, а тут мигала еще, словно при последнем издыхании, семиплинейная керосиновая лампа с закопченным допельза стеклом. Не мудрено: сквозь пожелтевшую бумагу, наклеенную на отверстия в стекле, едва пробивался тусклый свет. У лампы расположился средних лет человек, в двойных очках, с густой клочковатой бородой, похожей на заброшенный палисадник. На коленях у него лежит толстая раскрытая книга — он, видно, читал ее вслух. Слушатели застыли в разных позах и

едва подняли головы, когда мы вошли. Только один — пожилой мужчина в феске, с приплюснутым носом — явно обрадовался при виде нас. Он разгребал жар в мангале.

— О,— сказал он,— вот и Хаджи-баба сами пришли. У них и спросим!

Тогда поднял голову и чтец.

— Хаджи-баба,— сказал он важно,— вот тут у нас одно место сомнение вызывает. Когда владетельный государь Або-Муслим и Насрисайяр Беор сошлись в поединке в степях Хорасана, то Насрисайяр ударил почтеннейшего по голове палицей весом в девяносто шесть тысяч батманов. Тогда почтеннейший вошел в землю... по колено — или по пояс? В той книге, что мы в прошлом году читали, было написано — по колено. А в этой написано — по пояс...

— Правильно в той книге, где написано — по колено,— сказал Хаджи-баба таким же важным, не допускающим возражений тоном.— По правилам богатырских схваток предусматривается три удара. При первом уда-аре,— он загнул один палец и заговорил нараспев,— погружаются по колено! При втором уда-аре,— он загнул еще один палец,— погружаются по пояс! При третьем уда-аре...— он загнул третий палец и закончил торжественно:— погружаются по плечи! Сохрани аллах — да если этот собачий сын при первом ударе погрузил почтеннейшего по пояс, так при втором почтеннейший ушел бы в землю по уши. Слыхано ли такое? Будь так, это осталось бы в древних книгах, а где вы это прочтете?

Он остановился и оглядел их всех суровым и праведно-торжественным взором, словно судья, произнесший справедливый смертный приговор. Один из сидевших, смуглый сухощавый человек в синей чалме, утвердительно кивнул головой и сказал что-то на непонятном мне языке.

Я стоял как потерянный. Едкий запах в комнате сначала вызвал у меня тошноту, и глаза заслезились. Потом стало легче, но комната и ее обитатели производили такое жуткое и непонятное впечатление, что мне хотелось закрыть глаза и броситься вон. Что это за люди? Что это за место? Уж конечно, не медресе, каждый дурак с ходу поймет. Какую книгу они читали, я догадался: «Сказание о битвах счастливого Або-Муслима», только это ровно ничего не объясняло. А может... Разгадка вдруг мелькнула у меня в голове. Может, это... курильня?

Хаджи-баба взял у меня узел с лепешками и положил его на сундук. Потом он вытащил восемь штук, разложил



их на подносе, на каждую лепешку насыпал по горсточке джиды и кишмиша. Обойдя всех, словно с угощением, подаваемым на свадьбе, он перед каждым положил по лепешке. Сам он тоже сел в круг. Я все еще стоял у двери, не в силах на что-нибудь решиться.

— Эй,— сказал Хаджи-баба,— что ты там застыл, как лопата у стены, здоровайся с дядями и полезай сюда! Полежай, полежай, сынок, так вот оно и бывает...

— Ассалам алейкум! — сказал я тихим голосом и, стесняясь, боясь к кому-нибудь прикоснуться, полез на нары. Хаджи-баба подвинулся и дал мне место около себя. Против меня лежала одна из лепешек. Хаджи-баба налил мне чаю.

— Разломи лепешку, не стесняйся,— говорил Хаджи-баба,— пей чай да ешь, и не спеши, смотри разжевывай хорошенько. Все это твое, сынок, так-то вот...

Я начал есть, исподтишка, краем глаза, наблюдая за окружающими. Здесь не соблюдалось никаких церемоний, каждый пил чай из своего чайника, каждый ел свою лепешку с кишмишом, никто не угощал друг друга: «Ешьте, пожалуйста...» Сухощавый человек в чалме наклонился к Хаджи-баба и сказал:

— Сахиб, ин бача цист?

Он на меня при этом не смотрел, но, хотя я не понял его вопроса, по слову «бача» («мальчик») догадался, что спрашивает он обо мне. Так оно и было.

— Нашел в пекарне,— ответил Хаджи-баба негромко.— Нет у него ни отца, ни матери, и парнишка, видно, решил, что в нашем городе сирот мало, вот и пришел сюда... Парень вроде бы проворный, ловкий, язык подвешен хорошо, челюсти целы. Будет помогать вам,— добавил он, обращаясь ко всем.

Смуглый в синей чалме удовлетворенно кивнул, остальные тоже.

— Прекрасно, Хаджи-баба, очень хорошо, Хаджи-баба...

Так и есть — это курильня. Сколько я про них слышал, а никогда видеть не приходилось. То-то старика так всего от воды передернуло! Ну, а мне-то что делать? Остаться здесь да прислуживать им? Видно, старик на то и рассчитывает. Тошно... Да ведь ко всему привыкаешь. А местечко здесь тепленькое, что и говорить. Если они и вправду курильщики, так тут можно подзаработать... Ведь говорят, они, когда накурятся, мало что соображают. А уж

если меня возьмут в услужение, чай и лепешки, точно, будут в моих руках. Глядишь, за короткое время можно подкопить пемножко денег, чтобы вернуться к матери не с пустым поясом... Эх, стоило мне подумать о матери да о том, что до дома можно дойти за какой-нибудь час, меня словно волоком отсюда потянуло! Нет, сказал я себе, ты уже царень взрослый, надо и о делах подумать. Пожалуй, стоишь здесь задержаться.

Чаепитие не было еще закончено, когда человек в синей чалме, разговаривавший не по-нашему, стал подниматься.

— Имруз базар, сахиб, дукона барвакт кушодан лозимаст, боман ихозат!<sup>1</sup>

— Ладно, ладно, идите. К ужину ведь вернетесь?

— Конечно,— сказал смуглый и стал надевать кавуши.

Я только тут заметил, что между бровями у него красное пятно величиной с бухарскую таньгу. Он вышел. Я спросил у Хаджи-баба тихонько:

— Баба, кто этот человек?

— Во-первых, не просто баба, а Хаджи-баба, плут! А во-вторых, разве ты полицмейстер, чтобы я давал тебе отчет о моих гостях? Кто здесь бывает, да как его зовут, да какая у него профессия, да откуда он родом?.. Много будешь знать, скоро облысеешь, хе-хе. Это, сынок, индеец, мусульманин, вот так-то. Из города Пешавара. Слышал такой? Нет? Ну, вот видишь. Он сам-то меняла, ну и деньги в рост дает. А когда у индийца денег больше ста тысяч, он делает у себя на лбу красную метку, вот здесь! Видел у него такую? Видел? Чтобы такую метку сделать, ко лбу раскаленное золото прикладывают. А у него, сынок, золота на сотни тысяч! И сколько есть в Ташкенте купцов, все его боятся, прямо дрожат перед ним. Все они ему должны, сынок, вот так-то... Ну, ладно, хватит болтать. Вставай. Заправь чилим. Если до вечера поработаешь прилежно, покой мне дашь, я тебе кавуши достану...

Нет, определенно, здесь стоило пожить.

В тот день я не пожалел труда, все делал, что велел старик, даже и сверх того. Хаджи-баба был немного нудноват, особенно когда заводился и начинал длинные речи, вставляя свое «вот так-то» через каждые два слова. Зато был он совсем не злой и, пожалуй, даже щедрый. Может,

---

<sup>1</sup> Сегодня базарный день, хозяин, надо торопиться в лавку, разрешите уйти.

это оттого, что он оказался туповат в расчетах? Если он хотел по порядку подсчитать шесть штук чего-нибудь, например, лепешек, то после четырех, как правило, сбивался, и ему требовалось немалое усилие, чтоб довести эту сложную операцию до конца и без потерь. Это мне в нем особенно понравилось. А он в меня поверил и сразу подзывал, когда ему пачинали угрожать какие-нибудь солидные числа.

Вечером снова пришел индиец-меняла, я с ним познакомился поближе, а в следующие несколько дней прямо-таки здорово к нему привык, так что когда он уходил, мне словно чего недоставало. Я, похоже, ему тоже понравился. Едва он появлялся, у меня сразу словно становилось по шесть рук и ног! Я торопился его обслужить, а он рассказывал мне необычайные вещи, про чудеса Индии. Говорил-то он по-узбекски не хуже нас с вами. Интересно, правда ли все то, что он мне парассказал? Будто бы в Индии, в городах, все улицы усыпаны жемчугом. А мальчишки стреляют из рогаток сапфирами, ну и жемчужинами, конечно, тоже, ведь за ними стоит только нагнуться. Лепешки поспевают там на деревьях, а усы начинают пробиваться, когда мужчине исполнится пятьсот лет. А главное, все — мужчины и женщины — круглый год ходят голыми, потому что зимы там не бывает. А цены какие! Баранов — тех вообще отдают даром, а слон со слоненком стоит четыре танги! Подумать только, да я бы заработал слона за неделю! Может, без слоненка еще дешевле бы уступили, и где мне возиться с маленьким?..

Мне прямо загорелось побывать в Индии. И мальчишки наши раньше говорили про Индию кое-что интересное, но куда там! Ничего похожего на рассказы менялы. И потом, ведь то говорили мальчишки, а что они говорят, я и сам могу запросто выдумать.

Кроме интересных рассказов, индиец был щедр и на деньги. Он курил не крупный ташкентский нас, а бухарский, толченый. Я бегал ему за насом и каждый раз обязательно доставал, даже если нужно было обегать чуть не полгорода.

— Молодец! — говорил он мне и давал сверх истраченных денег два-три мири, а то и тангу. В базарные дни он приносил целый мешок серебряных и золотых монет, показывал прежде всего чайник крепкого чая, а потом, устроившись на полу, считал деньги. Чаще всего, пересчитав половину, он задремывал, но тут же просыпался, ис-

пуганно вздрогнув, потягивал чилим, пускал клубы дыма — и принимался считать дальше.

Блеск монет притягивал меня, я садился рядом и, когда он засыпал, оберегал его от дурного глаза. Просыпаясь, он говорил со вздохом:

— О, святой аллах!

Индиец очень мне нравился.

Впрочем, и другие постоянные посетители курильни были народ совсем не грубый, наоборот, таких мягких, обходительных людей редко где встретишь. Только когда они, бывало, накурятся и впадут в дремоту, смотреть на них с непривычки жутко: словно мертвецы, вернувшиеся с того света! Но пока не накурятся, они читают вслух какую-нибудь книгу, а чаще всего заводят медленные, важные беседы обо всем в мире, что было, есть и только еще будет.

К тому времени, когда я сюда попал, уже год с лишком шла война. О ней здесь тоже, конечно, говорили:

— Сильная война идет, сильная. Говорят, с одной стороны Николай и француз, а с другой — Герман какой-то! Что это за Герман? Говорят, шестиглазые они и крылатые? Ну и племя! И в старицу такого не видывали. Сколько городов белого царя, говорят, с землей сровнял. А еще говорят, он ползучую пушку придумал, она, вроде, на дракона похожа. Точно, точно, из рода драконов! А еще говорят, что никому не одолеть этого Германа, кроме таких непобедимых богатырей, как Або-Муслим, Кахрамони-катил, Халифан-Руми... Ну и ну! Так, глядишь, и до нас доберется. А еще говорят, среди войска белого царя... — тут все переходят на шепот, — непокорные, говорят, появились... А, слышали? «Не будем воевать с Германом, пускай, мол, белый царь сам воюет...» Оно и понятно — кому охота с голыми руками на такое чудище идти! А, что? Кто у них главный, у этих непокорных? Вот-вот, и я слышал, богатырь по имени Мастеровой...

Тут свежие политические новости иссякают, и беседа с политики понемногу переходит на прихоти птицелюбов. Толкуют о каком-то чудодее, который научил попугая говорить «дурак»; и о другом, который сделал галку наркоманом. Ей-богу, теперь она и дня не проживет, не выкурив чилима! А еще один обучил, говорят, курицу кричать петухом, с тех пор она и часы заменяет, и яйца несет. А жулан сносит яйцо через рот, — слышали об этом? Но скоро и эта тема иссякала, начиналась полемпка о причинах зем-

летрясений: тут высказывалось столько любопытного, что тому, кто и впрямь ведаёт землетрясениями, стоило послушать, — он бы наверняка кое-что намотал на ус. Нет, жаловаться на скуку мне было грех.

Хаджи-баба моей работой тоже остался доволен. И сдержал свое слово насчёт кавушей, хотя обувь в Ташкенте и впрямь сильно подорожала.

Голодные сапожники и их клиенты — всяческая беднота — только и знали что «опорки». Все охотились за «опорками». Так называли не голенища, а нижнюю часть сапог солдат, убитых на фронте. Их собирало какое-то заботливое военное учреждение, жадное до денег. Об этом услышал один ташкентский купец. «Покажу я вам, как надо заботиться о бедных людях!» — сказал он, отправился на фронт и привез оттуда целых восемь вагонов «опорок»! Теперь он продавал их пачками, по десять и двадцать пар, мелким сапожникам, занимавшимся починкой старья, а те их ремонтировали, избавляя бедный люд от необходимости тратить деньги на новые кавуши или калоши... «Опорки» стоили куда дешевле! Ну, я думаю, благородный купец тоже не остался внакладе, на пару хороших сапог он себе наверняка заработал.

Вот такие «опорки», еще довольно крепкие, Хаджи-баба мне и купил. Тяжелые они были, как два топора, и не менее твердые. В первый день они стерли мне ноги до волдырей. Но зато у меня была обувь, а к волдырям можно притерпеться.

По четвергам и пятницам в курильне особенно много народу. Кроме двадцати с лишком постоянных посетителей приходит еще и молодежь, которая устраивает плов в складчину да затягивается пару раз чилимом или слегка покурит анашу — «для аппетита», «для настроения», как они говорят. Молодежь эта — большей частью мелкие кустары, редко-редко попадетя среди них байский сынок. Зато в среду, с утра и до вечера, Хаджи-баба отпускал меня на свободу. Иногда он поручал кое-какие мелкие дела на базаре, но чаще всего я бродил по базару сам по себе. Среда была моей пятницей! <sup>1</sup> Утром Хаджи-баба давал мне полтаьги — праздничные деньги, «джумалик».

— Погуляй, сынок, только возвращайся пораньше. И не кривляйся, не будь посмешищем каждому встречному, как обезьяна бакалейщика; да не зевай у каждой

<sup>1</sup> Пятница — праздничный, свободный день недели у мусульман.

лавки, словно почтовая лошадь; и в драку с любым бездельником не вступай, как бродячая собака на мясном базаре; и не объедайся, смотри, как кишлачный простофиля, который во время хайта попал в торговый ряд... Не все, что глаза видят, живот принимает, так-то вот оно, сынок, да.

Я стою, переминаясь с ноги на ногу, меня ждет свободный день, полный удовольствий, все, что он говорит, я и в будни двадцать раз слышал. Ну, все вроде? Я кланяюсь и бегу, но он меня снова останавливает:

— Да, вот еще что. Возьми-ка это мира и купи фунт свечей у мыловара уста Талиба. Знаешь, на Ходжи Рушнаи. Да смотри, чтобы они не воняли. Завтра четверг, поставим свечи душам святых, как бы они не обиделись, если свечи будут вонючие... Ну, иди, сынок, иди...

Слава аллаху! Я успеваю сделать пару прыжков, когда он снова меня окликает:

— Пстой-ка, сынок, возьми вот еще две копейки, сходи к табачному сараю, там есть лавочник из Бухары, купи у него толченого наса для индийца...

— Ладно, не надо денег, нас я и так куплю.

— О,— сказал Хаджи-баба,— могу и себе оставить; деньги — радость души. Я зна-аю, вас с индийцем водой не разольешь! Ишь, как для индийца, так и денег не надо! Руки мои отдадут — руки мои берут... Хе-хе, так вот оно и бывает. Ну и глаза у тебя, сынок, так и бегают! Иди-иди, благо ты свободен, как плеть из кизильника... Ах, что лучше молодости и свободы!

Он что-то еще бормочет мне вслед, но я уже не слушаю, бегу вприпрыжку. И правда, что лучше свободы!

## СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ

Я хожу по улицам с опаской — и то удивительно, что за две-три недели я не встретил еще ни одного знакомого! Не приведи господи, попадешься на глаза матери или дяде — позор! Но пока мне везет. Курильня находится, правда, далеко от нашей махалли, да ведь на базаре-то все бывають!

Вот и сейчас я туда бегу. Сначала на дынный базар, к открытой поляне, что за Маджомп. Арбузов и дынь здесь целые горы — зеленые, и зеленые в черную полоску, и

зеленые до черноты; горы золотые, светло-желтые, шафрановые, желто-бурые, красновато-желтые, коричневые... Водоносы обильно полили землю, здесь довольно прохладно, пахнет клевером: повсюду виднеются его стога, привезенные на продажу. Стоят арбы с плетеными кузовами — откуда ни наехали они только: из Кувы, Маргилана, Ферганы, Алты-Арыка! Лошади выпряжены, а в тени кузовов и возвышаются все эти многоцветные горы: вот дыни сорта «ак-куруг», с пажитным белым мясом, вот желтовато-красные «киркма», вот «кзыл-куруг» — чуть жестковатые благоухающие красномяски, вот золотистые «шакарпалак», готовые треснуть при малейшем прикосновении...

А тут чудесный товар лежит прямо в кузовах. Большие, с дыню «хандаляк», красно-бурые шары, точно волшебные шкатулки с драгоценностями, запертые самим аллахом, так что и замка не отыщешь. Так оно и есть! Это гранат, под их твердой оболочкой прячутся сотни маленьких рубинов с прозрачными гранями, райские зернышки, полные душистого кисло-сладкого сока, — мечта!

Навстречу мне попадается парень моих примерно лет, тоже, видать, бродяга.

— Эй, — говорю я ему, — как тебя звать?

— А тебе-то что?.. Ну, Атабай.

— Если куплю одну дыню, составишь мне компанию?

— Составлю... Только у меня денег нет.

— Если у тебя денег нет, что ты на базаре делаешь?

— А какое твое собачье дело?

Точно! Никакого мне дела нет. Правда, в другое время я бы ему это «собачье дело» не спустил, но сейчас настроение у меня благодушное, неохота связываться. К тому же я, по правде говоря, отлично знаю, что он делает на базаре без денег. Небось помогает сгружать дыни и арбузы и получает плату мятыми, треснувшими или недозрелыми плодами далекой бахчи...

Ладно, валяй дальше, бродяга! Нынче ты мне не пара. И я покупаю за пакрыл маленькую красномяску, раскалываю ее и принимаюсь есть в одиночестве — в полное свое удовольствие! Уж больно я соскучился по фруктам... В курильню свежих фруктов и близко не подпускают: те, кто употребляет терьяк, опиум, кукнар, боятся их больше, чем кошка воды! Впрочем, так же боятся они и самой холодной воды, и молока, и простокваши. От гератской сливы, от вишни кок-султан, даже от граната их просто бросает в дрожь. Только заговорите при них обо всем этом,

они уже передернутся. Однажды я уговорил Хаджи-баба попробовать очищенный персик. Ой, что было! Он так плевался, что я думал, его наизнанку вывернет. «Тьфу, говорит, проклятое ты дитя! Персики, персики! Да это отравка, а не лакомство! Бр-р! Водяной шар, вот что такое твой персик! Тающая тряпка! Тьфу!» С тех пор я его не уговаривал, очень надо! Могу и сам съесть.

Вот как эту дыню. Доел я ее со вкусом. А теперь... Теперь я куплю еще пару гранат! Пировать так пировать! Я протянул одно миру дехканшу в ферганской тюбетейке, с темно-коричневым от загара морщинистым лицом, на котором седые усы и борода казались белыми, как снег.

— Граната захотелось, сынок! Ладно, положи-ка деньги в карман, я еще не сделал почина, а до почина в розницу продавать не хочу... — Я пожал было плечами и хотел уже отойти, но он наклонился, взял два крупных граната и протянул мне:— Бери! Бери, бери, не бойся... Один сам съешь, другой маленьким братишкам отнесешь, помолись за меня, вот и ладно. Гранат священный, издалека привезен...

Я поклонился старику, пробормотал «спасибо» и взял гранат. Потом я перешоялся платком, сунул гранат за пазуху и пошел с дынного базара. Проходя мимо лепешечного ряда, я увидел старосту старгородских сторожей Рахматуллу-саркара. Это был знакомый моего отца. Он шел мне навстречу. Сначала я хотел было дать стрекача, но он меня уже заметил, и я со скромным видом подошел и поздоровался.

— Эх, сынок,— сказал он, оглядывая меня, и покачал головой,— вон ты каким парнем уже стал! Идет время! Ну, как Мирза-ака?

Это он спрашивал про моего отца! Значит, про меня-то он и вовсе не знает...

— Умер он, ата,— сказал я.

— Ну-у! Ох, беда. Жаль, жаль, хороший был у тебя отец, сынок... — Он помолчал.— Ну, да благословит его бог! А мать... здорова?

— Мать... мать здорова, ата.

— Сколько ж вас после отца осталось?

— Я да трое сестреноч...

— И все малыши... Ох, беда! — Он помолчал, оглянувшись, поискал вокруг глазами, потом махнул рукой, полез за пазуху и вынул тощую перепелку.— На, посади ее в клетку да корми, авось станет хорошей певуньей.



Я поблагодарил, взял перенелку и сунул тоже за па-  
зуху.

— Да-а, жалко твоего отца... А тут еще один человек пропадает. Карабая-таджика знаешь? Нет? Молодой парень... Молодой-то задор и виноват, держал пари, да и вывихнул себе позвоночник, повезли его к табибу. Боюсь за него — видно, пропал парень...

— Как же это он вывихнул позвоночник, ата?

— Я ж тебе говорю — держал пари с байскими сынками из галантерейного ряда, что в одиночку снимет с арбы и отнесет в сарай большой мешок с бусами от дурного глаза... А там двадцать с лишним пудов! Разве можно с байскими сынками пари держать? Им только и забавы, что покалечить бедного человека! Эх...

Этот Карабай-таджик был, видно, одним из сторожей — они часто были из таджиков. Заодно они работали и грузчиками в торговых рядах. Рахматулла-саркар всех их опекал и пользовался у них большим почетом.

— Ладно, сынок, — сказал он, — пойду узнаю, что там с ним. Приходи к нам в свободное время!

Я постоял в раздумье. Куда теперь? Тут до слуха моего донеслись звуки карная и сурная. Ноги было сами понесли меня в ту сторону — цирк! Потом я замедлил шаг — туда ведь соберется вся окрестная ребятня, меня увидят... А, была не была!

Это оказались действительно циркачи Юпатова. Их разукрашенные арбы остановились посередине площади Чорсу. На одной арбе, зазывая народ, трудились изо всех сил музыканты: два карнайчи, один тощий тип с сурнаем да один барабанщик. Карнайчи надувались так, что казалось, вот-вот лопнут на глазах у публики. А тип с сурнаем даже вроде и не напрягался особенно — если б я не слышал, что сурнай издает свои распрекрасные звуки, я бы подумал, что сурнайчи просто дурака валяет, только делает вид, что дует. Может, он был такой тощий, что в нем и раздуться нечему было? Зато барабанщик старался за двоих и так колотил палочками, словно у него было их не две, а целый десяток...

На соседней арбе показывали свое искусство клоуны. Немыслимо пестрые шапки, на них наверняка пошло по лоскутку от каждого цвета, в какой только красят материю на земле; и лица — не лица, а маски из красок и муки. В самой середине этих масок торчат носы, такие длинные, что ими можно почесать под мышкой. А над

всем великолепием нависают из-под шапок длиннющие желтые волосы! Вот бы мне такие! Впрочем, я не отказался бы и от их халатов, длинных полосатых халатов, украшенных множеством серебряных полумесяцев и золотых звезд. Но больше всего я завидую их уменью показывать разные номера, разные фокусы, от которых только рот разеваешь. Ну и ну! Сподобит же аллах научиться — да я бы с таким уменьем горя не знал! Не только завоевал бы великий почет среди окрестных мальчишек, но еще и кучу денег заработал: чего проще держать пари, что я вот сейчас положу яйцо в рот, а выну — спорим? — из уха! Это как раз и проделывает один из клоунов...

А вот еще арба, и на ней какая-то русская женщина, нарядив пятерых комнатных собачек, словно игрушечных тетенок, заставляет их танцевать, подпевая им:

Люблю, люблю я, Мамаджон,  
люблю я, Мамаджон.  
Я та, что смотрит из окон,  
мой милый Мамаджон.  
И чай стаканом испокон  
пила я, Мамаджон...

Глупая песня, конечно, но для собак сгодится. Не все ли им равно, под какие слова танцевать?

На четвертой арбе полураздетая женщина показывает разные штуки ногами и руками, только, по-моему, ей самое главное — пощеголять своими роскошными шароварами с блестящими застежками внизу. Силач с четырьмя двухпудовыми гирями (это он сам кричит, что они двухпудовые) подкидывает их попеременно вверх, ловит на лету и снова подкидывает. А еще один в кругу показывает, как стоит на задних ногах горячая лошадь и как она кланяется публике. Он так похож на лошадь, что мне хочется на нем прокатиться...

А посреди всех этих чудес, переходя с арбы па арбу, разгуливает всем известный Рафик-клоун и кричит:

— Эй-й, кто не знает, пусть узнает, кто знает, пусть другим скажет! Старый знакомый нашего народа Юпатов-бай и его дочь Майрамхон построили возле каравансарая цирк! Слышите! Цирк! Билеты стоят от мираи до танги! Приходите! Приходите! Пожалеете, если не придете!..

Я пролез в первый ряд и стоял прямо против музыкантов, получая удовольствие полной мерой. Тут я вспом-

нил о гранате, вытащил один, нашел маленькую трещинку, разломил и стал давить. Кисло-сладкий сок потек ко мне в рот и по подбородку, на зубы попало несколько зернышек, я стал их жевать, морщась от кислоты и удовольствия, и не заметил сперва, что карнаи и сурнай вопили уже не так уверенно, как раньше — из них вырывались квакающие звуки. Вдруг один из карнайчи, безбородый старик, прервал игру, взял платок, перекинутый через плечо, вытер щеки и губы, сплюнул и закричал:

— Эй ты, проклятый мальчишка! Тебе говорю!

Я обернулся, чтобы посмотреть, кому это он кричит.

— Чего вертишься! Тебе говорю! Уходи отсюда, ешь свой гранат в другом месте, чтоб тебе пусто было!

Ну и дела! Я ведь забыл, что перед музыкантами, играющими на карнае или сурнае, нельзя есть кислое — ни гранат, ни сливу, ни курт. Когда они это видят, у них слюна начинает так и хлестать, дуть в трубу невозможно... Надо же, знал ведь — и забыл! С арбы соскочил один из клоунов и вытолкнул меня из толпы, а я глядел на него во все глаза — это был тот самый, что переправлял куриное яйцо через рот прямо в ухо...

Ну, прогнали — и ладно! Хватит с меня цирка. Тем более что представление зазывал уже кончается. Благодарение аллаху, никого из знакомых я так и не встретил. Я еще раз вспомнил желтые волосы клоуна, тряхнул головой — и сообразил, что я уже целую вечность не стригся. Не сходить ли к парикмахерам? Вот как раз и парикмахерская у мечети Махкама. Вместо вывески над дверью красуется грязный красный фартук, — его видно издали, люди сразу догадываются, что здесь обосновались цирюльнички.

В парикмахерской сидят несколько человек. У одного на шее четыре пиявки. У другого на висках пристроены два рожка для спуска крови. Эти рожки, с отверстиями на обоих концах, делаются из самых настоящих бычьих или коровьих рогов, выдолбленных изнутри. Парикмахер, сделав надрез на висках, приставляет рожки и спускает кровь. Человек с рожками, краснолицый, с тяжелым крутым лбом, и впрямь сейчас походил на быка. Он стоит, и другой, с пиявками, тоже. Оба они сидят на низкой скамейке у двери, а сам парикмахер занят удалением коренного зуба у третьего клиента. Клиент замер у него под руками с разинутым ртом, как у рыбы на берегу, и глаза у него точь-в-точь как у рыбы, такие же вытаращенные.

Старик парикмахер спустил на нос очки в черной железной оправе и посмотрел на меня:

— Что, мальчик, постричься хочешь? Это будет стоить один папыр. Деньги есть?

— Есть.

— Тогда не стой здесь попусту, пди к хаузу и хорошенько помочи волосы.

Парикмахеры — люди важные, образованные, мастера на все руки. Они не только стригли, брили, ровняли бороды и усы, красили волосы, но еще и лечили от множества болезней. Пустить кровь, поставить пиявки, удалить зуб, дать слабительное — все это и многое другое тоже входило в круг их обязанностей, из которых самой доходной было обрезание. Так что, когда появлялись такие завалающие клиенты, как я, суровые мастера не снисходили до того, чтобы собственноручно мочить им волосы, а посылали к хаузу.

Я зашел во двор мечети Махкама, добросовестно намочил голову водой из хауза, что посреди двора, и стал тщательно тереть волосы. Когда я вернулся в парикмахерскую, коренной зуб был уже выдернут, его хозяин стоял в сторонке и охал, сплевывая кровь, а парикмахер снова был занят — подправлял усы какому-то старику. Он опять глянул на меня краем глаза и сказал:

— Чего стоишь, три волосы, а то высохнут!

Наконец подошла и моя очередь, и на шее у меня оказалась грязная повязка красного цвета.

— Ах ты, нечистое отродье, намочил-таки плохо! — сказал парикмахер, налил полную пригоршню воды из кувшина для омовения и стал растирать мои волосы сам. На пальцах у него, чуть не на каждом, было по кольцу, и он сдирал с меня кожу целыми полосами. Остальное доделывали мухи, они тучами кидались на мои раны, точно волки на павшую лошадь. Удивительные мухи в парикмахерской, ничего не боятся! Я думаю, они в стоворе с самим хозяином и кусают только дешевых клиентов.

Содрав мне примерно половину кожи с головы (это называлось у него намочить волосы как следует), парикмахер наконец приступил к делу. Он начал брить с висков широким, как пятерня, лезвием. Первый раз я видел такую бритву! Каждый раз, как он проводил ею, я подскакивал, потому что при ближайшем рассмотрении бритва оказалась вовсе не бритвой, а пилой: остатки лезвия равномерно чередовались на ней с зазубринами. Но пилу

тоже иногда точат, а он свою не точил, видно, с тех пор, как перепилил надвое какого-нибудь захудалого посетителя. В то время как я подскакивал с приглушенным воплем, он сердито пихал меня обратно и говорил:

— Сиди спокойно! Что за нетерпеливый мальчишка, шайтан в тебе, что ли, сидит?

Когда бритые наконец завершилось, я был уверен, что попал в рай. Выжить после таких пыток невозможно, а на тот свет я прибыл явно как великий мученик. Но, к счастью или к несчастью, я был все еще в парикмахерской. Только я встал, как со стороны шорно-седельных рядов донеслись вопли толпы. Вовсе не замышляя смыться, я кинулся к двери посмотреть, что там такое. Но парикмахер налетел на меня, как коршун на цыпленка, и схватил за грудки:

— Ах ты, паршивец! Удрать хочешь! Убирайся, только сначала деньги заплати. Здесь святейшее заведение Сулеймана-чистого, его обманывать нельзя, понял, паршивец? А кто его обманет, у того и парша, и колтун, и лишай — все на голове заведется!

Я хотел ему сказать, что и парши, и лишай, и всего прочего с избытком хватает на грязных фартуках и повязках этого чистейшего заведения. Но времени на разговоры не было, я сунул старику причитавшийся папыр и помчался туда, откуда неслись шум и вопли.

Мелькнули мимо книжные ряды, ряды по торговле кошмами, ножами, седлами — народу всюду тьма, все галдят, спешат, вытягивают шею. Проскальзывая, протискиваясь, пробиваясь, я выбираюсь на базарную площадь и там, у моста через арык Джангах, пересекающий базар, вижу наконец причину всей суматохи. У входа в ряды по торговле барабанами несколько дюжих парней волокут стройного, франтоватого мужчину с черными усами и бородой, лет сорока примерно. На нем бешмет и камзол из китайской чесучи, подпоясанный розовым шелковым платком, на груди длинная золотая цепочка от часов, на голове еще держится кокандская цветная тюбетейка, а лакированные ичиги и кавуши поблескивают сквозь пыль. Парни, видно, только что вытащили его из двустворчатой двери, украшенной резьбой, со двора известной Айши-яллагчи, певицы. Вспомнив, чей это двор, я догадываюсь, кто этот франтоватый мужчина, — это же, наверное, муж Айши, Рахмат-Хаджи, знаменитый старгородский щеголы!

Так и есть! Он сопротивляется, как может, а толпа вокруг вопит:

— Тащи его, тащи, вот он, сводник проклятый, вот он, совратитель! Тащи его!

Парни, волокущие Хаджи, схватили его за руки и за ноги, пронесли пемного, а потом рывком бросили, точно мешок с зерном. Хаджи, хоть и сильно ударился о землю, вскочил все же, поднял правую руку и, обращаясь к толпе, закричал:

— Эй, мусульмане, эй, люди!

Но тут огромный мужчина лет тридцати, судя по одежде — мясник, кинулся на Хаджи, с маху ударил его головой, и бедняга Хаджи полетел вверх тормашками. Толпа снова завопила: «Бей подлого сводника!» Хаджи схватили за ноги и поволокли к перскрестку. Разъярившуюся толпу не могла бы усмирить никакая сила. Все, кто мог дотянуться до несчастного, считали своим долгом ударить его кулаком или пнуть ногой. Кто был далеко, жаждал попасть в него хотя бы камнем, попадая, конечно, и в других, что только усиливало суматоху и ярость. Это походило на растревоженное осиное гнездо, только осы-то были чуть великоваты. Подоспели полицейские, пешпе и копные, они свистели, стреляли в воздух, пытались разогнать толпу плетьюми — все тщетно. Бедняга Хаджи, верно, давно уже отдал душу богу, а его тело все еще били, пинали, терзали... Толпа начала рассеиваться добрых полчаса спустя, и чем меньше людей оставалось, тем поспешнее они уходили прочь, и я сам слышал, как один спросил другого: — Эй, послушай, а кого это прикончили, не знаешь? Чего он сделал?

А ведь, может, они первые и ударили несчастного Хаджи...

Я еще долго шнырял вокруг, слушал разговоры и по-немногу выяснил всю историю.

## ИСТОРИЯ РАХМАТА-ХАДЖИ

Рахмат-Хаджи, муж Айши-яллачи, нынешним летом поехал в Фергану — посмотреть да поразвлечься. Там он выдал себя за богача и сказал, что хочет жениться. Ну, за этим дело никогда не станет: ему тут же сосватали дочь одного сапожника — молодую вдову Латифахон. Прожив с ней в Маргилане несколько дней, он со всем имуществом

повез ее в Ташкент, однако прежде чем ввести в дом, явился туда сам и обратился к старшей жене, Айше, прямо-таки с мольбой:

— Жenuшка, душечка, допустил я по молодости лет промах, совершил глупость, но ты уж меня не выдай, проживу с ней недельку, а там по-доброму, по-хорошему отправлю назад. А ты будь мне пока что «сестрой», не осрами меня, душенька, я уж тебе отслужу, до самой смерти верной собакой буду. Только послушайся меня, а я раздобуду денег и в следующий раз возьму тебя в хадж, ей-ей, разрази меня аллах... Поездим по свету, да и вернемся чистыми от всех грехов! А, Айшахон?.. Договорились? Только не осрами меня, а уж я готов пить чай из той воды, что ты ноги мыла...

И так он молил, так упрашивал, что Айша-яллачи подумала, да и махнула рукой: ладно, мол. Ну, Рахмат-Хаджи и привел к ней в дом эту маргиланскую красавицу. Устроил он маленькое угощение в честь своей женитьбы, а там и пошло. Говорят, встретив новую любовь, от старой отвернешься, так и тут вышло. Рахмат-Хаджи стал избегать Айшу-яллачи, а нет-нет даже и смеяться над нею в присутствии Латифахон. Ну, Айша-яллачи терпела-терпела, наконец терпение у нее лопнуло, переполнилось чаша. Однажды, когда Рахмата-Хаджи не было дома, она зашла к себе Латифахон и говорит:

— Послушайте-ка, аймпаша (это вроде как сказать: «Послушайте, милашка»), это у вас в Маргилане все такие наивные, или вы одна такая? Вы уже три месяца, как в этот дом пришли, неужели все еще ничего не замечаете? Да ведь ваш Хаджи-ака мне вовсе не братом приходится, а мужем! Так что и вы мне, милая, вовсе не невестка. На мне лежат все расходы по дому, я вашего Рахмата-Хаджу избаловала, как холощеного кота, вот он и стал с жиру беситься! Разве вы не знаете, что я — самая знаменитая певица в Ташкенте? Саври-яллачи, Рисал-яллачи, Фатъма-яллачи — это все мои ученицы. Я хожу на все свадьбы, до утра пою, танцую, всю свою душу выворачиваю наизнанку, чтобы умело подольститься то к байским сыпкам, то к важным богачам, то к толпе ремесленников, унижаюсь, вымалываю свои денежки, а Рахмат-Хаджи эти рубли и транжирит! Вы что, всего этого не видите? Не-ет, говорят, две собаки с одного блюда не едят. Я-то мужа не жажду иметь. Захочу, так сто мужчин для меня пайдется. Вы столько мужских глаз и на улицах не встречали, сколько

на меня каждую ночь пялятся. Мой лоб, щеки да подбородок сверху донизу золотыми десятирублевками облепят, стоит мне только захотеть! Я кивну, и птица, что в небе, у меня в руках окажется... Мне-то наплевать, по вас мне жалко. Вы еще женщина молодая, дочь правоверного мусульманина, честного человека, а Хаджи вас опозорил, да еще и ославит напоследок. А знаете, для чего вы ему понадобились? Э-э... Могли бы и сами догадаться. Да он вас сведет с богатыми стариками, за одну ночь по сотне будет за вас получать! Так что будьте осторожны, милая. А, впрочем, может, это вам все по душе? Тогда воля ваша...

Бедная Латифахон сидела белая как полотно и не могла сказать ни слова. Дослушав, она поднялась и, шатаясь, как подстреленная перепелка, пошла в свою комнату. Некоторое время спустя она вышла в парандже и с узелком в руках и сказала:

— Спасибо вам, Айша-апа, образумили вы меня, я была как слепая. Простите меня за все, чем я вас обидела, может, нечаянно, может, нарочно. А я домой уезжаю!

Тут Айша-яллачи с ней попрощалась, заплакали они обе, обняли друг друга и поцеловались. Не прошло и пяти минут, как Латифахон ушла, вернулся Рахмат-Хаджи. Пошел он в комнату Латифахон, видит, ее нету, вышел и спрашивает у Айши:

— Эй, где Латифа?

— Бросила тебя Латифа, уехала в Маргилан. Сказала, будет развода просить. Не могу, говорит, жить с соперницей в одном доме...

— Ты, что ли, ей проговорилась?

— Я-то не проговорилась. На чужой роток не накинешь платок. И луну подолом не заслонишь. Тыща людей наш порог переступает, кто-нибудь и сболтнул наконец.

— Ах ты, черт, плохо дело! Давно она ушла?

— И пяти минут не прошло. Беги — догонишь. Спроси у людей, не проходила тут женщина в маргиланской парандже да с узелком в руках? Наверняка видели.

Рахмат-Хаджи, расстроенный и перепуганный, побежал на улицу. Расспрашивая то одного, то другого, он догадался-таки, куда она пошла, и нагнал ее у мясного базара.

— Эй, остановись, Латифа!

— И не подумаю остановиться!.. Сводник проклятый!

— Что ты мелешь, дура, какой сводник?



— Сводник, сводник! Больше ты меня не обманешь, шайтан! Тысяча проклятий твоему имени, ой, несчастная-а-а! Люди, мусульмане!!

Стал собираться народ; слушая, как они переругиваются, вышли мясники из-за своих прилавков. Видя, что дело принимает дурной оборот, Рахмат-Хаджи побежал обратно домой. Толпа зевак покатила за ним следом, по дороге выясняя у Латифахон подробности. Латифахон, плача, выкрикивала что-то малопонятное, но толпе уже было довольно. Люди и так были взбудоражены каждодневными разговорами и слухами о войне, растущей дороговизной, опасениями надвигающихся бед. Рахмата-Хаджи выволокли со двора и потащили...

Полицейские отнесли его труп в сарай и прикрыли циновкой. Конечно, ни того, кто убивал, ни каких-либо свидетелей найти им не удалось. Латифахон тоже исчезла неизвестно куда.

Мой свободный день клонился к вечеру, базар по-прежнему пустел. Я купил, как мне было поручено, фунт свечей, обнюхав их сначала, как собака дохлого цыпленка; потом взял на две копейки мелкого наса для индийца, да еще за три пакрыра купил полфунта халвы — гостинец для одиноких посетителей нашей курильни. Можно было отправиться восвояси. И тут, как раз возле тапдырного базара, у бани Бадалмата-думы, мне встретился Тураббай — мой закадычный друг, сын Расулмата из нашей махалли, торговца хлопковыми коробочками.

Я так все время боялся встретить знакомых, что даже и не понял, обрадовался я или нет. Тураббай на секунду остановился, разглядывая, а потом кинулся ко мне.

— Ну и ну! — закричал он. — Жив ты, каналья? Ты, выходит, в Ташкенте?! А твоя мать хотела траур объявить! — Мы обнялись, и он стал меня снова разглядывать. — Что ж ты домой не кажешься? — спросил он. — Неужели ты бессердечный такой?

Я забормотал в ответ:

— Да, понимаешь, друг, одет-то я как? Стыдно так домой вернуться... Я уже тут с неделю...

— С неделю? — сказал Тураббай. — Как же это мы тебя не встретили?

— Да я у хозяина... щедрый такой... вот еще неделю побуду у него... рубахой обзаведусь... да сестричкам куплю

что-нибудь.— В эту минуту я и вправду решил, что через неделю вернусь домой.— У меня к тебе просьба, слышишь, Тураббай? Не говори никому, что меня видел! Ник-кому! Я на той неделе сам приду! Не скажешь? — Он кивнул.— Слушай, а как там мать и сестрички, а? И что в махалле нового?

— Да ничего,— сказал Тураббай.— Мать и сестрички твои поживают хорошо. Твой дядя помогает. А что в махалле может быть нового?.. Правда, козел у Салимбаюсуфи оягнулся! Вот смеху было... А Хуснибай разорился, знаешь, он лоскутом торговать стал? Ну вот. Разорился начисто! Отец его отодрал. В мечети сперли подстилку для намаза, такую полосатую. Кто спер, не знаю, только говорят, у Исмата-диваны халат из этой подстилки! Слепая Зияд-ача померла... Которая частушки сочиняла... Последнюю знаешь? Нет?

Крепко время дубит кожу —  
год за годом, шаг за шагом.  
Шкура сделалась подошвой,  
терпеливый — падишахом!

Вот и все новости...

— А ты как живешь, Тураббай?

— Я-то? Хорошо-о! Э! У моего отца дела теперь во идут! Гуза подорожала, головка жмыха до двух таньги доходит!.. Ну, смотри, если не вернешься на той неделе, всем скажу, что тебя видел! И матери, и ребятам. Да, а кто твой хозяин?

— Секрет!

— Ишь ты, секрет! Что это ты таким важным заделался?

— Да так...

— Скажи лучше, а то сам все узнаю, да и раззвоню на весь свет!

— Ну уж ладно... Я... я учеником к канатоходцу поступил...

— Ой! Ври больше! Если ты навялся к канатоходцу, где у тебя бархатные шаровары? — Мы оба покатались со смеху.

— Да, скажи-ка, а где Аман?

— А, и верно... Я забыл. Он недавно вернулся, ободранный весь, и такого наговорил! Ну, все равно никто не верит. А он клянется: «Пусть аллах меня накажет, пусть меня гром разразит...» Теперь у него дела вроде пошли.

Нанялся в ученики к Абдулле-арбакешу, таскает ему воду, за лошадью смотрит... Абдулла-арбакеш ему солдатский ремень подарил. И ругаться по-русски научил. Ох и ругается! Аж завидно! А недавно у его отца лавка завалилась, так мы хашар устраивали — чинили.

Я слушал все это, представляя себе знакомые лица и нашу махаллю... И так мне домой захотелось!

— Ну, ладно, — сказал я, — мне идти надо. Остальное сам узнаю, когда вернусь.

Тут я вспомнил про перепела, которого подарил мне Рахматулла-саркар. Перепел сидел у меня за пазухой. Я вытащил его и протянул Тураббаю.

— На вот, посади в клетку, хорошо неть будет.

Тураббай взял перепела и погудел ему в уши. Потом еще раз погудел.

— Да это самка! — сказал он.

— Я всю стень обошел, я, что ли, самца от самки не отличу! — В душе у меня, однако, никакой уверенности не было. Мы остановили какого-то парня.

— Мулла-ака, посмотрите, получится из него певчий или нет?

Парень взял перепела, оглядел и улыбнулся.

— Из ее птенцов певчие получатся, а из нее нет!

Я и вида не подал, что посрамлен.

— Ладно, — сказал я Тураббаю, — в плов положишь. Мы распрощались и пошли в разные стороны.

## КУРИЛЬНЯ

Хаджи-баба и остальные уже кончали третью молитву, когда я вернулся. Я сложил в стороне свои покупки — свечи, нас, халву, оставшийся гранат, сменил воду в чилиме, вычистил головку. Потом вытер самовар, убрал лопаточкой золу и, как ни в чем не бывало, встал, с полотенцем через плечо, с вешиком в руке, ожидая, когда кончится намаз. Тут он и кончился.

— Ах ты, мой сиротинушка, загулял, бедный! — сказал Хаджи-баба. — Говорят, у сироты отцов много. Так вот оно и бывает, видно, нашел себе пару отцов, а? Нашел? Ишь ты, какой мягкий вешик, чтоб тебя германская пуля паразила!

— Смотрите, Хаджи-баба, уже закат на дворе, не проклиняйте в эту пору, — сказал один из курильщиков.

— Совсем от рук отбился! — сказал Хаджи-баба.

— Что интересного на базаре случилось? — спросил курильщик, который за меня вступился.

— Ой, Хаджи-баба, — сказал я, — ныпче на базаре толпа Рахмата-Хаджи убила, знаете, красивый такой, муж Айши-яллачи! Самосуд устроили...

— Ай-яй-яй... — сказал Хаджи-баба. — Сохрани нас аллах! И вправду красивый был мужчина, интересный собой! Царствие ему небесное! Ну, если его толпа убила, зачислят его в число великомучеников, пострадавших за религию... Зато от вечных мук в адском огне избавился... Вот так-то.

Но остальные хотели узнать подробности.

— Расскажи, как это было? Ты сам видел? Где? В парикмахерской услышал? О, да ты побрился! И правда, ты стал точь-в-точь как иранский падишах Ахмедали-лысый, я сам фотографию видел! Ну, рассказывай...

Я начал рассказывать всю историю с самого начала, как я что услышал и где что увидел. На меня нашло вдохновение, и подробности, одна другой ярче, рождались у меня прямо на ходу и соскакивали с языка так легко, словно были наичистейшей правдой. На самосуд, сказал я, собралось столько народу, что в одном месте земля провалилась, и я чуть было не упал в провал, но он уже был полон теми, кто провалился до меня. А потом царь направил туда стотысячное войско, и войско семьдесят один раз стреляло по народу, и все так шарахались от пуль, что девять женщин родили недоносков, а один из минаретов мечети Кукельдаш покосился. А потом полицейские Мочалова разграбили шорный ряд, а женщины, купавшиеся в это время в бане, выбежали со страху голыми...

Я говорил больше часа и наговорил такого, что Хаджи-баба и думать забыл о моем опоздании. Пока я все это выкладывал, курильня наполнялась гостями, их собралось человек двенадцать. Они слушали, вытаращив глаза, и, по-моему, чуть сознание не теряли от моего рассказа. Некоторые, забыв, что только что приняли опиум, попросили порции снова. Двое или трое были сами на базаре, и — удивительно: они не только подтверждали мои слова, но еще и от себя кое-что добавляли! Сразу после третьей молитвы пришел и мой индиец. Вид у него ныпче был веселый. Он успел услышать половину моего рассказа и по ходу дела переспрашивал, вставляя свое «машалла, машалла!».

Потом все общество стало обсуждать печальную историю Рахмата-Хаджи. Одни обвиняли его самого, другие Айшу-яллачи, третьи — маргиланскую вдову, четвертые нападали на эту необузданную толпу (хорошо, что самой толпы здесь не было!), пятые проклинали беспечность Мочалова и его полицейских.

— Это верно, бывают недоразумения, — сказал уста Мирсалим, старый очкастый мулла, наш постоянный посетитель. — Вот, например, в прошлом году на саиле в Заңги-ата что вышло. Была пятница, стойте, когда же это было, ну да, в середине месяца сунбула! К святейшему пиру Заңги-ата паломники прибыли. И-и, откуда их только ни наехало — из Ирака да Бадахшана, из Индии и Рума, из Китая — со всего света собрались! А из нашего Ташкента, наверно, все выехали, даже младенцы из люлек повывезали, ей-богу! Словом, народу тьма-тьмущая. Раздается призыв на пятничную молитву, народ идет в молельню, вся площадь около молельни запружена. А тут один опоздавший вперед пробирается, да и видит своего знакомого, а у того из кармана кошелек торчит и вот-вот вывалится. Он протянул руку, чтобы сунуть ему кошелек обратно в карман, один мусульманин это увидел, забыл про молитву и давай кричать: «Мусульмане, караул, среди нас карманщик!» Ну, тут вся молельня, с самим имамом во главе, прервала молитву и давай колотить того человека. Били его, били, потом во двор вынесли и давай там добивать. Добили они его, успокоились, а потом и стали расспрашивать: «А в чем дело? Что он сделал? Кто его поймал?» Ну, тут выходит на середину хозяин того самого кошелька, заливается слезами и говорит: «Это, говорит, был мой лучший друг, он у меня вовсе не украсть кошелек хотел, а, наверно, в карман обратно положить! За что, говорит, его убили?» Но дело уже сделано, говорить бесполезно, мертвого не воскресишь...

— Да, — авторитетно сказал Хаджи-баба, — и этот тоже в рай пойдет, так-таки прямехонько в рай, без всяких допросов и пожертвований.

Тут все снова заговорили и стали восхвалять того покойного неудачника, который пострадал ради чужого кошелька. А потом один говорит: хвала, дескать, нашим мусульманам, стоят они на страже общего блага, ничто от их глаз не укроется, шариат соблюдают так, что лучше не надо, и пока, говорит, такие самосуды случаются, можно спать спокойно, ни один вор не посмеет посягнуть на доб-

ро правоверного. И все стали с ним соглашаться и кричать: «Хвала нашему самосуду, хвала!», как будто кто-нибудь собирался вытащить у них прямо из кармана райское блаженство.

Так они поговорили в досталь насчет самосудов, а потом перешли к тому, что времена уж очень плохие нынче пошли, и народ испортился, и царь что-то не то делает, и вообще не осталось ни чести, ни совести, женщины и дети продаются прямо на базаре, хоть торговый ряд открывай, и шариат никто не соблюдает, а если правду говорить, так до вторичного воскресения Исы осталась ровно неделя, и недалеко от халифата Рума уже появился Дабатул-арз — тот самый страшный зверь зомм, который должен явиться перед концом света с железом Моисея и перстнем Соломона и победить главного врага ислама. А со стороны Китая вторглись одноглазые народы Гог и Магог, и половину Ирана земля поглотила, и мало всего этого — так у нас в Ташкенте, в Туп-Кургане, вдобавок еще нашли незаконорожденного младенца!

Тут Хаджи-баба, который был имамом нашей веселенькой мечети, встал для совершения четвертой молитвы, и все, конечно, тоже встали. А я принялся заваривать в чайниках крепкий чай и расставил их на мангале, снова набил чилим табаком и зажег посреди комнаты лампу. Потом я на большом подносе разложил каждому его порцию — по одной лепешке, два кусочка сахару и горсточку черного кишмиша, а когда молитва кончилась, поставил всем по чайнику и пшале. Хаджи-баба снова стал раздавать опиум — одним больше, другим меньше, смотря по внесенным деньгам, а четырем паркоманам, которые пили кукнар, подал по чашке сиропа, накрыв сверху платочком. Тут наконец началось веселье, и уж если все они в трезвом состоянии могли такого наговорить, что уши вяли, так слушать их после того, как они наглотаются своего добра, было и вовсе нелегко. Трезвые они были прижимистые, лишней пол-изюминки не выпросишь, да у некоторых и не было этой самой лишней пол-изюминки, а тут они становились на словах такими щедрыми богачами, куда там!

Один из них расхваливал свой цветущий сад, видно взлелеянный им в мечтах, такой сад, что его из конца в конец за день не пройдешь; другой считал свое воображаемое золото и никак не мог сосчитать, сколько его было; третий приглашал соседа к себе домой. «Двух баранов зарежу», — говорил он, размахивая руками, но я подозре-

ваю, что у него не только баранов — и самого дома не было. А как они угощали друг друга чаем, подвигали кипиши и лепешки! Даже опиумом они делились, кусочками размером с крылышко мухи...

Я, стараясь не вслушиваться, усердно их обслуживал. Стоило кому-нибудь стукнуть крышкой чайника, я уже тут как тут и наливаю свежего чаю, крепкого, кузнецовского. Но, конечно, как всегда, главный объект моих забот — индиец.

— Машалла, сын мой, машалла, я доволен.. Нынче базарный день, трудный день, я устал, ох и устал... Подсчитать выручку нынче не успею, ладно уж, завтра, принеси-ка мне чилим.

Я кладу в головку чилима три уголька, раскуривая как следует. Захватываю заодно и купленный для него толченый пас:

— Вот, и кальян готов, и жар в меру.

— Молодец, сын мой, молодец...

Он несколько раз затягивается, табак крепкий, каршинский. Он быстро пьянеет, по смуглому лицу разливается бледность, глаза закатываются:

— Воды... принеси воды.

Я бегом приношу ему пиалу холодной воды. Руки его дрожат, он делает несколько глотков. Я с минуту стою возле, он понемногу приходит в себя. Я отдаю ему пас, завернутый в бумагу:

— Вот, я принес вам бухарский насвай.

— Ай, молодец, сын мой, какой молодец! Спасибо...

Он роется в своем мешочке с мелочью и протягивает мне серебряный полтинник:

— Это тебе в подарок, спрячь от Хаджи-баба...

Я беру и едва заметно кланяюсь:

— Спасибо.

Оглядываюсь — другим тоже надо подавать чилим и чай. Бдение продолжается до вторых петухов. Хаджи-баба давно уже удалился в ичкари, оставив всех на мое попечение. Постепенно расходятся и клиенты, только индиец и уста Салим, тот, что в двойных очках, остаются, как всегда, почевать в курильне. Я задуваю лампу и тоже ложусь...

Завтра ведь четверг — тяжелый день! Накануне пятницы полным-полно посетителей.

Утром я встаю спозаранок, ставлю самовар. Веник ходит быстро, вот уже все и подметено, прибрано — чисто-

та. Уста Салим в своем углу в одиночку совершает утренний намаз, долго поминает своих умерших родителей и еще кучу покойной родни, не оставляет без внимания и тех, кто сейчас находится на пороге смерти, молится и собственному духу-хранителю, наконец, завершает долгий перечень и спрашивает:

— Чай у тебя вскипел?

— Шумит.

Надо сходить за свежими лепешками, но Хаджи-баба не разрешает оставлять курильню без призора. Что делать? Не посылать же уста Салима! Благо, Хаджи-баба сам появляется.

— За лепешками, наверное, еще не ходил?

— Вы же денег не оставили...

— Правда, так-то оно так...

Порывшись в кармане, он дает мне две таньги, после чего, как всегда, следуют продолжительные наставления:

— Будешь покушать, осмотри со всех сторон, чтоб не было подгоревшей или недопеченной. А то принесешь, так и есть нельзя будет. Так вот оно и бывает, да. Отломи кусочек, попробуй, не перекисло ли тесто. Не бери всего, что тебе совать будут! Да прикнижь на руке, чтобы весом были побольше. Так-то вот. Война войной, а пекарни земля еще не проглотила...

Я перебрасываю платок через плечо и бегом отправляюсь к пекарне. Рань еще какая! Воздух свежий, все чуточку сквозит синовой, деревья, дувалы, дома словно омыты щедрой голубой прохладой утра. На повороте у старого Каптана я натываюсь на Малла-джинни, за которым тащится свора голодных бродячих собак. Он идет и громко разговаривает сам с собою:

— Купи верблюда за копейку — где твоя конейка? Купи верблюда за тысячу рублей — твои деньги при тебе! Слышали, собачки? — Он поворачивается к своей своре и подзывает самую маленькую собачонку, тощую замухрышку. — Ты, душечка, — говорит он ей, — лучше всех падишахов, ни с кем не ссоришься, а до тех, кто ссорится, тебе и дела нет... — Тут он замскает меня: — Эй, парень, целуй хвост моей душечке!

Я отскакиваю в сторону и наблюдаю издали за его дурачествами — давно я не видел тапкентских джинни, старых знакомых. Я и сам не замечаю, как бреду вслед Малла-джинни с его сворой, пока, спохватившись, не поворачиваю назад, к пекарне. Когда я возвращаюсь в курильню



с лепешками, Хаджи-баба возится подле вскипевшего давным-давно самовара:

— Нечестивец, ты что, до самой Тойтепы за лепешками ходил? Где ты запропастился?! Давай сюда!

В курильне уже семь или восемь посетителей, мы раздаем им питье, еду, наркотики, кому сколько полагается за его плату, а когда все принимаются за свое, я потихоньку открываю ларчик, где хранится чай и сахар, достаю оттуда вчерашний гостинец, халву, делю ее на три части и кладу куски перед Хаджи-баба (ему самый большой), перед индийцем и уста Салимом. У Хаджи-баба глаза загораются:

— Ты где это взял, нечистое отродье?

Я говорю, скромно потупив глаза:

— Кошил пятничные деньги, что вы давали, и купил вчера на базаре...

Хаджи-баба удивлен и растроган, индиец и уста Салим — тоже:

— Молодец, мальчик, из тебя выйдет человек! Быть экономным да про запас откладывать — это... это хорошая черта. Так и поступаай, быстро разбогатеешь. Да, так вот оно и бывает... Ну, иди, сынок, иди, пусть прибудет тебе вдесятеро, так-то вот...

День проходит как обычно, а ближе к вечеру появляется много нового народа. Как и всегда накануне пятницы, это большей частью молодые ремесленники. Они затянутся раз-другой, ну, полчилима выкурят от силы, зато сготовят плов или шурпу, весь вечер весело гогочут над каждым пустяком, — словом, курильня становится хоть ненадолго похожа на обыкновенную чайхану, с обыкновенными людьми, по которым я, правду сказать, здорово соскучился. И где уж мне отведать в будни такого жирного плова, такой ароматной шурпы! А эти парни от каждого блюда откладывали кое-что для «мальчишки-чайханщика» — для меня то есть. Ну, и щедрый они народ, хоть у самих в карманах не густо! Может, не привыкли еще считать каждый накыр, но только всегда они переплачивали и за чай, и за лепешки, и за дрова, и за соль, и за красный перец, так что — копейка за копейкой — мне и деньги перепали. Глядишь, я зарабатывал в такие вечера пять-шесть таньга — огромную сумму! Ведь плов в складчину готовился в курильне не один раз за такой вечер. Я объедался, бывало, так, что к ночи ходил, как гусь на водоное.

День сегодня удачный, торговля была бойкая, я вручаю Хаджи-баба двадцать один рубль сорок копеек наличными. У него просто рот до ушей — так он доволен! После пятой молитвы, когда в курильне снова остаются семь или восемь посетителей, он берет четыре свечи из тех, что я принес вчера, ставит их по четырем углам и зажигает, прочитав над каждой по одному стиху из Корана. А на нарах уже пристроился уста Салим, положив перед собою на досняющуюся подушку все ту же почитаемую книгу «Сказание о битвах счастливца Або-Муслима», — сейчас он начнет читать вслух громким раскатистым голосом. Остальные приготовились слушать, заранее замирая от удовольствия, ужаса и восхищения. Все это написано на их лицах, озаренных светом коптящей керосиновой лампы.

«Ита-ак... итак, со стороны Маймана, с правого крыла, у предгорья Кухидаман, поднялась пыль. В пыли скрывалось семьдесят два знаменосца семидесяти двух тысяч воинов в доспехах, состоящих из семи панцирей, а со стороны Майсары выстроились ровным строем, словно стена Искандера Зулкарнайна, богатыри почтеннейшего Або-Муслима — Счастливца из Хорасана. Над его изумрудным тронem, украшенным золотым орнаментом, развевалось знамя Мухаммеда, лучезарный стяг Хорасана.

Из неприятельских рядов, пришпорив резвого скакуна, вырвался на поле брани богатырь в маске, в доспехах из семи панцирей. Ноги его лошади по щиколотку проваливались в землю. Крутя над головой семидесятидвухбатованную палицу и сорвав маску с лица, он закричал:

— Эй, Або-Муслим из Хорасанских степей, любитель животных, если знаешь меня, знай, если не знаешь, узнаешь, — я Насрисайяр Беор и сегодня на этом поле вышибу из тебя дух!

Тогда почтеннейший Або-Муслим в порыве храбрости вскочил на свою сивую лошадь по имени Кухтач, загородил этому проклятому дорогу. От охватившего гнева каждый волосок его вздыбился, пронзив доспехи подобно отравленному копыю.

Он на лету схватил Насрисайяра за пояс с возгласом «О, Али!», поднял вверх и, семь раз покрутив над своей благословенной головой, швырнул в небо. Тело этого печетивого скрылось из глаз и не показывалось столько времени, что можно было успеть приготовить плов. Потом, протянув благословенные руки в небо, почтеннейший

опять схватил его, поставил невредимым на землю и сказал:

— Эй, Насрисайяр, отныне не смей так непочтительно задевать честь хорасанидов!

Насрисайяр раскаялся, целуя стремя коня почтеннейшего, и заверил его в своей покорности».

Эта потрясающая история то и дело прерывается возбужденными возгласами, ахами, охами, а когда чтение заканчивается, никто уже не может молчать — начинается бурный обмен мнениями.

— Вот это герой! — говорит Ахмадали-суфи из Тикалдимазара. Он даже слезы вытирает! — Вот это мужество! Про таких и говорят: храбрец познается в походе. Что нынешние войны! Так, одно малодушие. Стоит за версту, да и стреляет из винтовки в человека, а то из пушки палат по мирному народу... Богоотступники, а не войны!..

— Так, воистину так! — говорят остальные. — Нет теперь таких героев, нету!

И мой индеец присоединяется к общему хору.

— Машалла, машалла, — говорит он. — Воистину так...

## МНЕ НАДОЕЛО

Говорите, что хотите, но оставаться тут месяцами моего терпения бы не хватило! Оно, конечно, выгодное местечко, где еще мальчишка вроде меня может столько скопить, чтобы не только матери с сестренками помочь, а еще и на дорогу в Индию заработать! И все же, если до того ты привольно гулял, как теленок в молодой траве, и вдруг оказался вроде суслика, попавшего в кувшин, хоть в этом кувшине полно лакомств, — не очень-то повеселишься. Неба-то из кувшина видно всего маленький кружочек, вроде серебряного рубля, а разве серебряный рубль может заменить небо?.. И рассказы индийца-менялы — очень интересные рассказы, и длинные, вроде его костюма, который на аршин длиннее самого индийца, — разве эти рассказы могут тебе заменить мальчишку-сверстника, твоего закадычного друга, с которым можно и поиграть, и подраться, и помериться силами, и помириться после ссоры?

Я скучал, — даже не могу и сказать, как скучал, — и все искал, чем бы позабавиться. Перепела, которых держал Хаджи-баба, уже начали петь, запел и кеклик, которого оставлял у нас в курильне Султан-курносый, наш по-

стоянный посетитель, тот самый, что ходил в феске. Но и перепела и кеклик были такие же невольники, как я: одного разлучили с высокими склонами снежной горы Тай-тай, других — с зелеными лугами Кунгпрактепа. Слушая их, я только острее чувствовал свою неволю. Мне, чтоб развлечься, требовалось что-нибудь поинтересней, что-нибудь такое неожиданное, вроде того, например, чтоб из зверинца убежал тигр и набросился в галантерейном ряду на Валиходжу-ака или в бане посреди дня котел взорвался. Я так и мечтал об этом и прямо представлял себе, как тигр идет по галантерейному ряду и каждую секунду чихает от всех запахов, не успевая толком пасть открыть, или как разваливается баня и голые оттуда так и сыплются, словно блохи из кошмы.

Но чаще всего я воображал путешествие в Индию — по густому лесу, и как я со львом сражаюсь, и обрубаю головы сорокаглавым змеям, и приручаю дикого человека, и езжу верхом на крокодилах и носорогах... Такая жизнь была бы по мне!

А здесь что? Эти наркоманы, серые, как больные горлянки, их нудные разговоры, нескончаемые, как и дремота, в которую они впадают, — как я еще только терплю все это? А когда они разойдутся, так и вовсе тошно становится: шумят и машут руками, лучше бы уж мертвецы ожили и стали строить планы на будущее! Удирать отсюда надо, удирать! Да и перед матерью стыдно, и перед махаллей — наверняка Тураббай не удержался и шепнул кому-нибудь про нашу встречу! Но что-то тут же шепчет мне: «Рановато еще уходить, рановато...» Во-первых, денег на Индию я еще не накопил, хоть грех мне жаловаться и на щедрость индийца, и на туповатые расчеты Хаджи-баба, и на снисходительность любителей плова, и на собственную расторопность. Правда — это я только вам говорю, да еще индеец знает, не считая аллаха, конечно, — у меня уже собралось три пятирублевки, одна десятка, два целковых и еще серебро да медяки. Как только мелочи набиралось у меня на круглую сумму, индеец обменивал ее мне на золотую монету. Золото я зашил в кромку своего легкого летнего халатика, остальное положил в глиняную пепельницу Хаджи-баба и зарыл у арыка, под старым топелем, шагах в пятидесяти от курильни. Конечно, немало я заработал, что и говорить, а все-таки еще недостаточно.

Но это лишь полдела. Ведь по-доброму Хаджи-баба меня не отпустит, он моей работой доволен, да и обойтись

ему без меня трудно. А если просто удрать, он еще, пожалуй, искать меня станет, а ведь тут не степь, город, все обнаружится, мне тогда и в махалле нельзя будет оставаться. Нет, один выход: натворить что-нибудь такое, чтоб меня выгнали отсюда. До сих пор-то я был кроток, как жаба на лунной дорожке...

То ли потому, что всю последнюю неделю голова моя совсем забита незрелыми планами, или потому, что скука и уныние совсем мной овладели, только все в курьих заметили мой необычно тихий и задумчивый вид. Хаджи-баба это, видно, беспокоило, а индеец — еще больше.

Во вторник Хаджи-баба подозвал меня и спросил ласково:

— Скажи, сынок, это останется между нами — ты, не дай бог, не пробуешь ли случайно этого черненького, чтоб его черт подрал?

— Какого это черненького?

— Какого, какого? Того самого, что мы употребляем, я же о нем говорю...

— Что вы, Хаджи-баба! И в мыслях у меня не было... Я вижу, до чего наши клиенты доходят. Пусть меня озолотят, я его и в рот не возьму!

— Ну, слава аллаху, молодец, сынок, а то так-то вот оно и бывает, смотри, берегись этого яда...

Хаджи-баба вытер глаза поясным платком, как всегда перекинутым через плечо, порылся в кармане и вытащил рублевую бумажку:

— Это тебе на завтра базарные деньги, сынок, походи, полакомись. Очень ты меня порадовал, я уж испугался, думаю, погубили мы такого хорошего мальчишку.

Пряча деньги в карман, я сказал:

— За это можете быть спокойны, Хаджи баба, не дурак же я!

Он, видно, и вправду успокоился и завел свои обычные наставления.

Вечером меня так же ласково подозвал к себе индеец.

— Иди-ка сюда, сынок, как твои дела, не болен ли ты?

— Нет, паща, спасибо, я здоров.

— Чем же ты озабочен?

— Да так...— Я посмотрел на него искоса и решился: — Я все об Индии думаю, паща, хочу туда поехать!

Он засмеялся. Я тоже засмеялся.

— Машалла, ты и вправду хочешь поехать в Индию?

- Да, пачча.
- Далек путь в Индию и трудеп!
- Велико мое усердие, пачча...
- Молодец, сынок... Машалла!

Он на несколько секунд замолк, глаза его затуманились, словно он увидел что-то далеко за пределами нашей курильни. Потом он зажмурился и мотнул головой, как бы отгоняя видение, снова посмотрел на меша еще ласковей прежнего, полез в свой мешочек и вытащил — ого! — пятирублевку! Я чуть замешкался, я и вправду не поверил, что все это мне. Но он сказал:

— Бери, сынок, бери, у меня ни семьи, ни детей, всего не истрачу, да и аллах любит искупительную жертву!

Ну и везет мне нынче! Видно, встал я с правой ноги. За один день заработать шесть рублей! Так и миллионером стать недолго. Знал бы я, что грустный вид приносит такой доход, всю бы жизнь, с самого начала, ходил с печальной миной. Однако настроение у меня поднялось, и до вечера я работал, то и дело улыбаясь ни с того ни с сего.

В среду на рассвете Хаджи-баба дал мне две таньги и сказал:

— Сбегай быстренько за лепешками, сынок, наполни хумы водой да посмотри, есть ли корм и вода у перепелок. А потом — ты свободен, так-то вот, беги на базар, ешь, веселись, развлекайся! Вернешься, когда захочется. Но смотри, слишком не запаздывай, времена теперь плохие, дурных людей хоть пруд пруди, так вот оно и бывает, да...

Я мигом слетал в пекарню, натаскал воды, позаботился о перепелках. Потом мы с Хаджи-баба выпили чаю, и я отправился на базар. На этот раз я начал с молочного базара, что возле Хасты-Уккоша: захотелось мне сливок с лепешкой... И только я туда заявился, не успел еще, как водится, перепробовать разного товара, лизнуть из одной касы и сказать «кисло», лизнуть из другой и сказать «жидко», как увидел мальчика из нашей махалли, Убая, младшего братишку мельника Абдуллы-писклявого, сына старого Ибрагим-палвана. Он обрадовался и удивился, увидев меня, — стало быть, Тураббай сдержал слово! — и опять пошли расспросы, рассказы, слава аллаху, я отделался где правдой, где небылицами. Потом мы перешли к делу. Пока я съем сливки, он продаст молоко, которое принес на базар, а там мы отправимся в цирк Юпатова! Потом полакомимся мороженым, покушаем жареной рыбы,

покатаемся на кенджава — закрытых ящиках, прикрепленных к седлу верблюда, посмотрим панораму — картинку через увеличительное стекло... Повеселимся вдоволь!

Я сказал Убаю, что нынче угощаю его всем — деньги, вырученные за молоко, он не мог потратить, а то от невестки попадет, она наказала ему дешево не продавать! Пока он торговал, я купил крыночку сливок за мири, лепешку за две копейки и уселся в тени на корточках. Скоро подошел и расторговавшийся Убай, он помог мне справиться с едой. Мы оставили его опустевшие горшочки в лавке мясника Карабая и оказались свободны, словно стригунки, которым развязали путы!

Базар. Полдень. Тьма народу. У входа в караван-сарай, загораживая улицу, тянутся вереницей ожидающие пристанища караваны верблюдов, груженных соломой, саксаулом, углем. Верблюды стоят молча, на их безобразных мордах написано не то крайнее презрение, не то безграничная покорность, только иногда какой-нибудь из них повернет голову, и колокольчики коротко звякнут. Тогда кажется, что их молчание — это на самом деле длинная-предлинная, только неслышная нам речь и вот в конце поставлена-таки долгожданная точка...

За мостом через арык Махкама, чадя на весь свет, жарят рыбу. На грязном столе лежит, распластавшись, огромный сырдарьинский сом. Его открытые, похожие на мешочек с сюзьмой глаза облеплены мухами. Напротив торгуют сафьяном. Дальше площадь — и на ней белоголубой брезентовый купол цирка! На высоких деревянных нарах у входа расположились уже знакомые нам музыканты и клоуны, среди них и знаменитый Рафик. Они зазывают публику, играя и показывая короткие номера...

— Эх, жалко, нет под рукой кок-султана или граната,— говорю я Убаю и рассказываю мое приключение с музыкантами в прошлую среду. Мы оба хохочем.

— Ну, что,— говорю я,— пойдём в цирк?

— Не-е,— говорит, к моему удивлению, Убай,— неохота...

— Ты чего это?

— Дорого...

— Я ж плачу!

— Да понимаешь, там, говорят, какая-то Майрамхан выступает голая, а я ужас как боюсь голых женщин! Ей-богу, все равно что на лягушку наступить! А что там еще

будет? Фокусы мы посмотрели, музыку послушали, на танцующих лошадей, что ли, смотреть? Так у нас своя лошадь есть, мой отец на ней знаешь как ездит... Все равно эти лошадиные танцы с козлодраньем не сравнить. Ты был на уллке?

— Нет, ни разу.

— А я был! Ух ты! Вот это цирк!

— Может, зайдём все-таки?

— Что ты, купец, что ли, деньги на ветер бросать? Лучше мороженого купим, чем опять то же самое смотреть... — Он оживляется. — А ты видал, здесь, в цирке, говорят, Рафик один раз набрал полный рот опилок, чиркнул спичкой и давай сыпать искрами изо рта! Видал?

— Врать это...

— Да мне Хуснибай рассказывал!

— Ну, Хуснибай и врет!

— Ну, ладно, пошли за мороженым?

Мы пошли. Я взял красного мороженого, Убай — кремового; нам подали его в тарелочках с воткнутыми в холодную льдистую массу деревянными ложечками. Вот ведь есть же люди, которые могут наслаждаться такой вкуснотой каждый день! Мы и не заметили, как тарелочки у нас опустели.

Тут же, недалеко от караван-сарая и площади, находится почта, а около нее установлены столбы с канатами для канатоходцев. Представление еще не началось, пока что играют несколько музыкантов да два клоуна на длинных деревянных ходулях раскачиваются, рассказывая всякую чепуху. Одного из них я знаю — я помню его тюбетейку с пришитыми золотыми косичками: его зовут Ака Бухар. Мы повернулись и здесь, но не стали ждать начала: пошли дальше, обсуждая вопрос о том, из чего мы сделаем себе ходули по возвращении в махаллю. Как это мы раньше обходились без них, просто непонятно! Ходить на них нетрудно (так нам, по крайней мере, кажется), а голова твоя оказывается выше самого высокого человека, выше любого дувала. Смотри куда хочешь и на что хочешь!

— Может, вареного гороха купим? — спрашивает Убай.

— Да брось ты, только что ж ели сливки с лепешкой! Лучше пойдем в панораму, посмотрим картинки через увеличительное стекло. Мы с самого начала собирались, помнишь?



Картинки показывал младший брат Ильхама-чайханшика, плешивый Ибрай. Просмотр двух картинок стоил копейку, но Ибрай узнал нас — соседи! — и согласился показать пять картинок за один пакры. Мы приставили к глазам «бинокли».

— Во-от,— говорит Ибрай нудным голосом,— это падишах Фаранга, кесарь Румелийский, прогуливается по улицам со своей женой... А это халиф турецкого султана Абдулхамид Второй. Он приехал в пятницу в соборную мечеть Софии для совершения намаза. Перед фаэтоном пищие, которые выпрашивают подавание... А это афганский султан Абдурахман... А это принцесса Индии, дочь падишаха Фаранга, верхом на слоне прогуливается по джунглям Мазандарана...— Ибрай бубнил свои объяснения чересчур быстро, и картинки за ним не успевали, так что мы уже приняли было жену кесаря Румелийского за халифа турецкого султана Абдулхамида Второго, а едва мы обнаружили эту ошибку, как афганский султан Абдурахман попытался выдать себя за принцессу Индии верхом на слоне. Ибрай между тем знай себе тарабанил: — Это паломники в Маккатулле, они восходят на холм Арафа... А это кормилица его величества белого царя — Валентина Федоровна. Она скончалась в прошлом году от колита. Ну, идите гуляйте!

Ибрай явно торопился, видно, чтобы сэкономить уступленную нам плату. Мы расплатились и пошли прочь. Казалось, мы только что проехали весь свет из конца в конец, так много непонятных вещей успел нам показать Ибрай за две минуты, и в голове у нас все окончательно перепуталось. То, что падишах Фаранга (то есть Франци) со своей женой преспокойно прогуливается по улицам, в то время как его дочь, принцесса Индии, катается на слоне черт-те где, нас нимало не удивило. Но что делают паломники в Маккатулле у мечети Софии... Тьфу! Они же вовсе поднимаются на холм Арафа, чтобы выпросить подавание у кесаря... Словом, мы так запутались, что и до вечера во всем бы не разобрались. Однако на восковом базаре, куда мы вышли, нас ожидало новое зрелище, и мы сразу же начисто забыли обо всех этих свихнувшихся царственных особах и их кормилицах, умерших от колита.

Навстречу нам, подняв на все торговые ряды такой шум, словно это сорвались с цепи пьяные медведи или взбесившиеся верблюды, шли, распевая свои песни, ка-

ландары Миттихан-турам. Мы подождали, пока они пройдут мимо, и пошли следом. Они направились к соборной мечети Маджами. За мечетью, рядом с базаром, где торговали гузапаей, была широкая площадь. Сегодня на этой площади должен был читать проповедь Куса-маддах — самый знаменитый проповедник не только Ташкента, но и всей Средней Азии! Каландары и оказались его глашатаями.

Они выстроились в ряд перед мгновенно собравшейся толпой. Ни один из них не сел. Они опирались на палки, кто на длинную, кто на короткую, кому какая досталась, и, покачиваясь, восклицали: «Хув, хув, хув...» Откуда-то принесли кресло, поставили его на середину и покрыли овчиной. Рядом оказалась табуретка, на ней разложили лепешки и сахар, принесли и чайник с пшалой. А через некоторое время появился сам Куса-маддах — низенького роста упитанный старик, лет семьдесят, с бледным, морщинистым безбородым лицом, в большой белой чалме, в палевом халате, из-под которого виднелся обшитый тесьмой воротник рубахи. Держа в руке трость, он уселся в кресло и обратил лицо в сторону кыблы. Весь ряд каландаров оказался перед ним, и тут вышли еще двое, один с черной бородкой клинышком, другой помоложе, без бороды, оба в белых мантиях, накинутых на плечи, в легких халатах, в кавушах на босу ногу. На голове у них красовались такие же белые чалмы, как и у Кусы-маддаха. Это были его ученики. Они шли и вопили: «Дуст! Дуст!»

Куса-маддах налил пшалу чая, промочил горло и встал, опираясь на трость. Потом, не торопясь, обошел весь круг (мы с Убаем успели уже пробраться в первый ряд), осмотрел собравшихся и вернулся на свое место. Все замерло. Он поднял руку и крикнул хриплым голосом:

— Эй, люди, прежде всего, садитесь, не стойте на ногах, словно каменные боги язычников!

Ответом ему был дружный шум, все уселись там, где стояли. Мы тоже сели, развалившись, насколько позволяло место.

— Bravo! — воскликнули ученики проповедника такими визгливыми голосами, что их небось слышали даже на Шейхантауре.

Куса-маддах между тем продолжал:

— Извещаю вас, что среди собравшихся немало наших братьев мусульман из Самарканда и Бухары, из Каттакуртана и Уратепы, из Ферганы и Ходжента! Они прибы-

ли в наш подобный раю Ташкент! — Толпа негромко загудела и смолкла. — А теперь я представлю вам вашего покорного слугу! Я родом из Бухары, из махалли Казагаран. Меня зовут Хаджи Наджмиддин ибн Салахиддин, наш достопочтенный отец тоже был славнейшим проповедником во времена эмира Музаффера! Через семнадцать поколений мы связаны с Мавлоно Хусани-ваизом Самарканди. Этот почтеннейший предок процветал при Хусейне Байкаре, великом тимуриде... О, золотые времена! Книга «О благодетельной нравственности» написана им, почтеннейшим, а я прихожусь ему семнадцатым внуком! Кто усомнится в этом, да почернеет, как котел, а душа его да горит огнем, как тандыр! Аминь!

Ученики тоже завизжали:

— Аминь! Да подвергнется тленью!..

— Теперь перейдем к делу, — сказал Куса-маддаж уже другим тоном. — Аллах в своем Священном писании предписал рабам своим повиноваться троим. Во-первых, ему самому — благословенному и всевышнему. Мы сотворены его могуществом и обязаны повиноваться ему ежечасно, ежеминутно, ежесекундно!

— Дуст, дуст, обязаны! — завизжали ученики, а каландары загудели:

— Хак, хо, хув...

Куса-маддаж остановил их жестом и продолжал:

— Во-вторых, благослови его господь и приветствуй, нашего пророка Мухаммеда Мустафу, посланника аллаха! Мы должны повиноваться пророку и свято соблюдать каждую его заповедь. Да будет благословен его чистый дух!

— Хай, хай, да будет благословен, аминь! — пискнули ученики, а каландары снова выпустили на волю свой трубный глас, восславляя аллаха и пророка. Но проповедник опять остановил их взмахом руки.

— В-третьих, — заговорил он еще более громко и хрипло, — нашему великому императору, белому царю, его величеству Николаю Романову, который, как сказал аллах в своем Священном писании, является тенью бога на земле, да не оставит нас его милость...

— Да не оставит, — запели ученики, — является тенью, аминь, является тенью-у-у... — И каландары затаили свое: «Государь, внемли моим нуждам, государь, будь ко мне милосерд, ху-ху...»

— Да будет тысячу лет неколебим двор нашего великого Николая, его министры и советники, аминь! — Уче-

ники завелись было, боясь упустить такой удобный случай, но он не дал им даже развернуться.— В эти дни,— продолжал он зловещим голосом,— несчастный вражеский царь Герман направил против нашего великого императора стотысячные войска, облаченные в семь нанцирей, снабженные пушками и летающими машинами, принес народу неисчислимые бедствия! Каждый мусульманин в эти дни особенно обязан повиноваться великому царю и его любому повелению. Аллах сказал: какой бы веры ни был ваш царь, повинуйтесь! Но, слава аллаху, наш царь и его министры придерживаются веры Святого писания, святого Мессии. Разве Иисус не пророк божий? Наш великий царь и его двор не являются северными, они получили книгу откровений до Мухаммеда, запомните это, и повинуйтесь нашему царю, окажите ему помощь в дни великих битв. Аминь! И предупреждаю вас, не поддавайтесь подстрекательствам босоногих бездомных плутов, северных мастеровых, тайных врагов, которые бродят среди вас. Всех этих нечистых возмутителей, где бы вы их ни встретили, задерживайте и отдавайте в руки городских властей, его превосходительству господину полицмейстеру и его полицейским... Пусть подстрекатели подавятся камнями! Аминь! Аминь! Аминь!

Ну, тройной «аминь» ученики и каландары сочли истине сигналом свыше и выдали в ответ такую порцию воплей и визга, что окрестные стены дали трещины:

— Аминь, пусть подавятся, пусть подавятся, ами-пнь!

На этом первая часть проповеди закончилась, и Кусамаддах перешел к разным текущим вопросам, проливая на них лучезарный свет шариата. С какой целью следует заходить в отхожее место? Если в проточную воду попали нечистоты, сколько раз они должны перевернуться, чтоб проточная вода снова стала чистой? Может ли едущий верхом на лошади приветствовать того, кто едет на осле? На которую ногу надо сначала надевать кавуши, вставая утром, на правую или на левую? Попадут ли в рай пивен и парикмахеры? Можно ли есть пищу, приготовленную в плоском русском котле? Является вор рабом божьим или нет? Дозволено ли шариатом есть картошку? Надо правду сказать, все эти труднейшие проблемы Кусамаддах щелкал, как орешки, но нас с Убаем они что-то не волновали.

— Слушай, Убай,— сказал я ему тихонько,— по-моему, во всей этой чепухе вкусу не больше, чем в мороженом огурце. Что это он несет?

— Я тоже не пойму, — сказал Убай. — Чего он так раскудахтался насчет белого царя и чиновников, взятку, что ли, от них получил?

— Может, пойдем отсюда?

— Ты что, с ума сошел, разве выберешься!.. А потом, знаешь, самое интересное — это когда маддах деньги выпрашивает. Лучше цирка! Интересно, дошел он уже до того места, когда начинают деньги просить?

— Э, ничего ты не знаешь, — сказал я. — Разве после такой проповеди деньги просят? Это когда сказки рассказывают, вот когда. Дойдет до самого интересного места, все ждут, что дальше будет, тут-то он остановится и давай деньги требовать!

Соседи на нас пикнули, мы замолчали, и тут как раз Куса-маддах начал свой фокус со сказкой. Он стал рассказывать такую фантастическую, невероятную историю, с таким нагромождением бестолковых чудес, что наверняка и сам не знал, какое новое чудо произойдет в его рассказе в следующую секунду. Это было ловко задумано, ведь если он сам не знал, то уж публичка-то никак не могла догадаться. Все слушали, боясь проронить слово, и вдруг он оборвал свое повествование. Я думаю, он сделал это не потому, что настал момент выпрашивать подношения, а просто потому, что забрался в дебри, из которых не в силах был выбраться. Ему требовалось время, чтобы пришла помощь свыше, простой смертный эту историю уже не распутал бы. В общем, он убил двух зайцев сразу.

— Мусульмане, — сказал Куса-маддах, — все мы люди, обремененные семьей, и аллах велел нам ее содержать. Те, кто хочет услышать продолжение нашего рассказа, все наши братья по шарнату и те из них, кто хочет иметь ребенка, кто желает богатства или избавления от долгов, кто намеревается жениться или просит исцеления от болезни, все, кто хочет, чтобы аллах услышал их молитвы, да пожертвуют... — тут он сделал эффектную паузу, — семьдесят лошадей от семидесяти молодцов! — Он прикрыл глаза, сделал горестную мину, причем лицо его так сморщилось, что, кроме морщин, на нем ничего и не осталось. — Ай-яй-яй, напрасно я так прошу, напрасно, зачем мне, старику, бедному, немощному старику, семьдесят лошадей? Аллах видит, мне достаточно одной буланой! Одной буланой от одного молодца! А остальные шестьдесят девять да расщедрятса всего на шестьдесят девять золотых! — Он снова сморщился и покачался из стороны в сто-

ропу, я думал, он и вправду сейчас упадет. Но он-то и не думал падать.— Ай-яй-яй, напрасно я так прошу, напрасно! В такое беспокойное время, когда у всех столько забот, откуда люди возьмут золотой? Не надо мне золотых, прошу всего по целковому! — Он снова стоял и качался с прикрытыми глазами, но теперь я бы голову дал на отсечение, что он видит всю толпу до последнего человека, и нас с Убаем тоже. Мне даже как-то не по себе стало, словно он проник своим всевидящим взором в кромку моего летнего халата, где защиты монеты... Но тут он заныл опять: — Эй, мусульмане, в книге пророка сказано, во всем хороша золотая середина. Не значит ли это — просить, кто сколько может дать? Воистину так! Я жду от щедрых всего по одной таньге! По одной таньге, правоверные! Не заставляйте себя ждать, поройтесь в своих кошельках, кто хочет узнать, что было дальше в нашей прекрасной сказке!

Оба ученика пошли по кругу, держа в руках кепчик — маленький барабан, обтянутый кожей с одной стороны. И тут вышел в круг какой-то бай, ведя за собой захудалую лошадку, подвел ее к проповеднику и с поклоном передал уздечку Кусе-маддаху.

— Господин, — сказал он, — я бездетный, помолитесь за меня!

Проповедник, словно пророк, поднял глаза к небу (я только теперь увидел на одном из них бельмо), распростер руки, не выпуская, впрочем, уздечки, и возгласил:

— Аминь, правоверные, твердите со мною: «Аминь!»

Со всех сторон заголосили «аминь».

— Пусть все желания этого человека дойдут до всевышнего! Пусть великий лев божий, покровитель веры Али, благословит его! Пусть аллах сделает его отцом девяти близнецов-сыпцов и девяти близнецов-дочерей. Пусть он всю жизнь справляет свадьбу за свадьбой! Аминь!

Вокруг опять раздалось «аминь», уже менее дружное, и в этом нестройном хоре отчетливо выделялся визг учеников и трубное пение калаандаров. Одновременно я услышал сбоку шепоток, что кое-кто уже и раньше видел Кусе-маддаха на этой лошадке... Чего только не нашептывает шайтан в уши человеческие!

Сборщики подавания обходили между тем круг, задерживаясь подольше возле тех, кто был одет получше; сколько им дали в их барабан, аллах ведает, я не счи-

тал. Наклонившись к уху Убая, я рассказывал ему про почтеннейшего ишана, у которого я проживал... Убай хихикал, я увлекся, мой рассказ был, верно, написан у меня на лице.

Мы и не почувствовали, что на нас остановился зоркий взгляд Кусы-маддаха.

— Эй, каландары! — закричал он вдруг. — Выведите-ка, уважаемые братья, выведите из круга этих двух непочтительных мальчиков, что смеются над святым делом, каналы этикие! Прочь их, поганых мух в чистой пище!

И не успели мы опомниться, как четверо толстых каландаров к нам приблизились, двое схватили под руки меня, двое — Убая, вытащили из круга и, дав напоследок по тумаку, вышвырнули с площади. Вслед нам понеслась брань, но мы не прислушивались.

День уже прошел наполовину, делать вроде бы и нечего, да и Убай заторопился домой. Я иду и раздумываю: что, если потратить рубль-другой, купить бедной маме и сестренкам фунтов десять риса, маша, пару фунтов сала, немного мяса да еще всякой мелочи и передать все это через Убая? Да, но как быть, если мама станет Убая спрашивать, где он меня видел, или скажет: поведи меня к нему, найди его! Что тогда делать Убаю? Правда, я скитаюсь уже несколько месяцев. Ну, да кое-кто в махалле знает, что я жив-здоров, и маме, верно, это впустили. Сколько уже мы терпели, и они и я, потерпим еще чуть-чуть... Все равно теперь больше недели я у Хаджи-баба не останусь.

Я протянул Убаю серебряную монетку:

— На тебе на мелкие расходы. Смотри не говори никому до следующей недели, что видел меня, ладно? А на той неделе я вернусь!

Мы расстались.

Я вдруг почувствовал, что голоден. Э, была не была, схожу-ка я в чайхану Ильхама, да и почаевничаю там, как байский сынок!

В чайхане было все по-старому, так же играл граммофон, и Асра-лысый суетился, только попугай куда-то исчез. Асра-лысый сначала и пускать меня не хотел:

— Иди, иди, проваливай отсюда, занимайся своим делом! Тут чайник чаю, да осьмушка сахара, да одна лепешка, знаешь, сколько стоят? Четыре с половиной пакрыра! Здесь пить чай таким, как ты, не по карману. Давай, давай, катись! Только грязи натащишь на кошму!

— Ой, миленький Асра-ака, да вы меня пустите, у меня не только четыре пақыра, у меня рубль есть! Вот! Не верите — смотрите! — И я показал ему целковый.

Он отступил.

— Ишь ты, нечистое отродье, — пробурчал он. — Торговые ряды ограбил, что ли? Где ты рубль взял?.. Ну, ладно, проходи...

Я уселся на краю нар, он принес мне все, что полагалось. Я сидел, попивая чаек, наслаждался, слушал граммофон, жаль, попугая нет больше, то-то я бы с ним побеседовал!

Около меня, тоже на краешке нар, уселся какой-то обшарпанный дехканин, приехавший, должно быть, издалека. Как это Асра-лысый впустил его? Видно, недоглядел. Дехканин робко оглядывался, все никак не мог усидеть на месте. Я сперва думал, он кого-нибудь ожидает. Потом догадался — да он просто не может понять, кто поет! Я так и прыснул. Он поглядел на меня с опаской. Тогда я, как мог почтительнее, объяснил ему, что поет вон та машина с трубой... воп та, в углу! Тут он совсем растерялся и долго смотрел на нее испуганными глазами. Видно, он раздумывал, что бы это могло значить: если внутри сидит человек, так ящик для этого слишком мал, если там нечистая сила, так в песне поминается аллах и пророк! Просто страх божий, лучше не думать! Я все хихикал про себя, я-то граммофон миллион раз слышал! Но тут мне пришло в голову, что, попроси он меня объяснить, в чем там дело, я и сяду в лужу: я знаю об этом не больше, чем он...

## ВЗРЫВ

Я сделал на базаре обычные покупки — фунт свечей, бухарского наса на две копейки, немного халвы — и поплелся в курильню. Осточертела она мне до крайности. При мысли, что я опять увижу все эти физиономии, мне просто тошно делалось. Только индийца еще хотелось повидать.

Придя, я сделал кое-как все необходимое, стараясь ни на кого не смотреть, и лег спать. Проснулся я от холода. Что-то непонятное творилось в мире, было и темно и странно светло разом. Я выглянул — на земле, тая, лежал тоненький слой первого снега! Так рано снег еще никогда не выпадал, и так неожиданно! Вечер вчера был теплый,



только ночью, видно, небо затянули холодные, хмурые тучи... Ну и дела!

Я вернулся в помещение, не зная, с чего начать день... Потом вдруг мне пришла в голову странная мысль. Я зажег лампу, уселся и на обертке от пачки кузнецовского чая, в какой обычно Хаджи-баба подавал опий своим гостям, одним духом написал... стихотворное послание Хаджи-баба! Вот оно полностью:

### СНЕЖНОЕ ПИСЬМО

О джап-баба, нам снег послал всевышний,  
грозит мороз, и смотрит хмуρο небо.  
А у бедняги вовсе деньги вышли,  
и на одежду — ни копейки нету.  
Я весь дрожу, окоченели ноги,  
и голову прикрыть не знаю чем я.  
А я служил прилежно дни и ночи  
и выполнял все ваши порученья!  
Истерся я вконец, как мягкий веник,  
мета весь дом от самого рассвета...  
Мне б на халат да и на шапку дегег,  
и, кроме вас, другой надежды нету!  
А вам за все благодеянья ваши  
дай бог семь раз домой прийти из хаджа!

*Ваш ученик-сирота.*

Я перечел его, и оно мне самому понравилось. Я свернул свое послание в виде письма, а когда Хаджи-баба вышел из своей комнаты, протянул ему.

— Что это, сынок?

— Не знаю, приходил какой-то человек, оставил, говорит, письмо из Намангана.

— А, вот оно как, наверное, от Маматризы. Он собирался в этом году мак сеять, — сказал Хаджи-баба и протянул письмо уста Салиму, очкастому. — Прочитайте-ка письмо от друга. Что-то я по утрам вижу плохо.

Мулла взял письмо, развернул и стал читать:

— «Снежное письмо...»

— Что-что? — переспросил Хаджи-баба.

— Снежное письмо, — повторил уста Салим и давай читать дальше.

Хаджи-баба весь затрясся.

— Эй, ты, нечестивец, — закричал он, — кто это тебе дал, почему ты сразу его не задержал, а? Да мы бы поса-

дили его задом наперед на ишака, намазали бы сажей и прокатили по Чорсу! Ах ты, господи, кто же это решился высмеять меня на старости лет! А ты хорош — гляди, каким скромным прикидывается, как кот у бакалейщика... Ну, читайте дальше, уста Салим, читайте.

По мере того как уста Салим, запинаясь и вставляя после каждого слова свое «хуш-хуш», продвигался к концу послания, до Хаджи-баба дошел смысл всей истории, и он понемногу перестал злиться. А когда услышал конец «дай бог семь раз домой прийти из хаджа», он растаял и даже прослезился. Подпись «ученик-сирота» совсем его доконала.

— Так ты ж это и написал, собачье отродье,— сказал он со слезами на глазах,— что ж ты сразу не признался? Оказывается, ты и стихи писать умеешь, а? Да, так вот оно и бывает!..

Он достал из-за пояса платок, вытер слезы и пошел в ичкари, а пока его не было, уста Салим стал меня расхваливать и говорить о трудностях стихосложения. Он стал уже забираться в такие тонкости, что я совсем перестал понимать, о чем речь, но тут вернулся Хаджи-баба, в руках у него была поношенная шапка с фиолетовым бархатным верхом.

— Надень-ка это, сынок, ну, ну, подними руки для благословения, о, господи, дожить бы тебе до моих лет! Так вот оно и бывает, да, стоит птенцу вылупиться из яйца, он и начинает оперяться. Будешь жив-здоров, скоро и ватный халат тебе будет, так-то вот оно...

Благословение его сбылось, на завтра индиец, который тоже при всем этом присутствовал, подарил мне свой старый зимний халат без рукавов. Халат был на три четверти аршина длиннее, чем мне требовалось, но я подрезал подол. Теперь я был одет и обут, как принц: на ногах опорки, сам в индийском халате, подпоясанном ремнем, на голове бархатная шапка. А если бы кто стал болтать всякие глупости, что я, дескать, похож на воронье пугало, так я на того плевать хотел.

Пару дней я усердно работал, но мысль о том, что отсюда надо убираться, гвоздем засела в моей голове. Как-то утром я решил привести в исполнение первую часть разработанного мной плана. На рассвете, когда я в одиночестве убирал курильню, попался мне пустой флакон из-под насвая. Я наполнил его водой, плотно закупорил и глубоко закопал в золу в мангале. Потом я развел огонь и зашес

мангал в курильню. В курильне проснулись, появились посетители, скоро все собрались на завтрак. Тут были и сам Хаджи-баба, и уста Салим, и индеец, и Султан-курносый в своей неизменной феске — словом, все общество. Закусывая, они заговорили, конечно, о политике.

— Великая беда этот Герман,— сказал уста Салим, разжевывая лепешку.

— Великая! — хором отозвались индеец и Хаджи-баба. «Греется флакончик»,— думал я.

— С воздуха бомбы бросает, выданное ли дело? — сказал уста Салим.

— Наказал нас аллах, видно, земля нагрела, вот небо и рушится,— сказал Хаджи-баба.

«Вот-вот закипит»,— думал я.

— А бомба, говорят, если упадет, одна тыщу домов спопит! — сказал Султан-курносый, по привычке поправляя феску.— От одного взрыва, говорят, миллион человек идет на тот свет!

«Вот сейчас!» — подумал я, и тут действительно ахнуло! Флакон в мангале взорвался с таким грохотом, словно разнесло котел в бане! Курильня наполнилась облаком золы, что-то зазвенело, полетели осколки, какие-то тяжелые предметы попадали на пол. Словом, взрыв был такой, что и на войне лучше не бывает! Когда зола немного осела, Хаджи-баба и Султан-курносый приподнялись и на четвереньках поползли в сторону. Меняла и уста Салим лежали без движения, но я побрызгал им в лицо холодной водой, и они пришли в себя.

Несколько секунд слышались только робкие охи. Потом Хаджи-баба, отплеываясь — у него был полон рот золы,— начал посылать проклятия Герману и Николаю. Уста Салим спросил:

— Ах ты, господи, а что это было-то?

— Пропади вы пропадом, все из-за вас! — закричал Хаджи-баба.— Говорил я вам, не лезьте в политику!

Султан-курносый ползком добрался до двери и исчез. Все на некоторое время замолчали — они поглядывали друг на друга, видно соображая, что же это все-таки могло быть, и на всякий случай отодвигаясь подальше от страшного мангала. Под конец все забились в углы, стараясь стереть с лица золу. Посмотрев на меня, Хаджи-баба сказал:

— Что ты нахохлился, как фазан? Что ты стоишь, пропади ты пропадом? Иди, вынеси мангал!

Я потащил мангал, делая вид, что ужас как боюсь, и стал подметать золу. Но тут появился Султан-курносый — и не один: с ним было двое полицейских!

— Выстрел был вот здесь! — сказал он, тыча пальцем в то место, где стоял мангал, а потом повернулся к уста Салиму: — А стрелял вот он!

Уста Салим что-то растерянно завопил было, но полицейские его не слушали. Они начали обыск, предварительно ощупав со всех сторон уста Салима, который извивался у них в руках и паническим голосом уверял, что он вообще никогда в жизни не стрелял, даже из рогатки. Всю курильню перевернули вверх ногами. Потом проверили паспорта. Потом допросили Хаджи-баба и уста Салима, выясняя все их родственные связи, вплоть до чьей-то бабушки, которая, по словам уста Салима, осталась бездетной и умерла от нервного истощения. Конечно, не нашли ничего, кроме двух фунтов анаши и четверти фунта опиума. Один из полицейских незаметно отломил кусок анаши размером с кулак и положил его себе в карман, я это видел, но, разумеется, промолчал.

— Ладно, — сказал наконец полицейский, тот, что был помоложе. — Насчет выстрела не подтвердилось. Бомбы тоже не видать. Видно, какой-нибудь мальчик устроил фейерверк.

Только он это сказал, все посмотрели на меня, и глаза у них загорелись мрачным огнем. Я уже приготовился с плачем отнекиваться, но тут второй полицейский добавил:

— А вам, Хаджи-баба, придется пойти с нами, объясните господину полицмейстеру насчет этого, — он показал на анашу и опий.

— О великие! — сказал Хаджи-баба, и колени у него подогнулись, как будто он собирался стать на них. — На старости лет не ведите меня в суд, это ведь не мое, мне дали на сохранение...

Тут остальные тоже вмешались:

— Оставьте это дело, век не забудем вашу доброту, дай бог жизни и вам, и господину полицмейстеру, и белому царю...

Хаджи-баба начал лихорадочно рыться в своем кошельке, выгреб оттуда целую горсть меди и серебра и отдал старшему полицейскому.

— Вот, возьмите, добрые люди! Хоть и мало, но сочтите за многое, даю от всей души...

Полицейские переглянулись.

— Ладно уж,— сказал младший.— Смотрите, чтоб впредь этого не было, на первый раз простим, как-никак вы старый человек...

— Ой, спасибо,— забормотал Хаджи-баба и стал кланяться.

Полицейские ушли. Хаджи-баба обессиленно уселся на край нар.

— Уй, еле спасся от беды, благодарение аллаху, пронесло... Эй ты, чертов сын, сколько ты мне вчера вечером денег отдал?

— Семь рублей, одна таньга и мири!

— Слава аллаху, дешево отделались... Ну, а теперь говори — твоя проделка?

— Умереть мне, нет!

— Смотри, так и умрешь без покаяния!.. Может, какой-нибудь мальчик в курильню заходил?

— Я не заметил...

— А-а, ты не заметил, так-то вот оно! И сам ни при чем, и не видел никого! Сыт, одет, деньги копишь, так еще и номера стал выкидывать, как козел Ишанхана! Еще говорит, я не заметил! А-а!

Он схватил лежавшие рядом медные щипцы для угля, вскочил и кинулся ко мне. Несколько раз он успел меня ударить, но тут его удержали остальные. Я забился в угол и плакал. Меняла умылся, оделся и с печальным видом ушел на базар. Уста Салим принялся за изготовление цветов из разноцветной бумаги — подарок какому-то баю на той, по случаю обрезания младшего сына. Хаджи-баба ушел к себе. Султан-курносый не показывался. Мало-помалу к середине дня все вошло в свою колею. Но дело было сделано... Я остался под сильным подозрением.

Когда дня два спустя наши посетители беседовали, сидя на сури у стены курильни, с крыши на них упали два дерущихся кота. Если бы из зверинца действительно сбежал тигр и прыгнул на них сверху, они бы и то больше не испугались. Коты, правда, до того озлились, что, даже свалившись, продолжали рвать друг друга, истощно воя, и при этом, конечно, не особенно заботясь о красоте наших клиентов. Они начисто разодрали чалму уста Салиму, и, помимо, ему еще надо было благодарить аллаха, что на нем была чалма, потому что у двух других они выдрали примерно половину волос из головы и бороды, да так и скрылись со своей добычей.

И, подумайте, их приписали тоже мне!

Разве не обидно? Ведь в этом я был ни сном, ни духом не виноват, я этих котов раньше и в глаза не видел! Но во всем есть своя хорошая сторона. Теперь ясно, что задерживать меня здесь особенно не станут...

Однако дело этим не кончилось.

В следующий четверг Хаджи-баба приготовился к обычной торжественной трапезе накануне пятницы. В широкой щели под потолком у него стоял ирбитский ларчик, который открывал только он сам: там хранились наркотики, чай, сладости. На этот раз он спрятал туда полфунта ароматного кузнецовского чая, фунт халвы, больше фунта ургутского желтого кишмиша и другие лакомства. Ларец он, как всегда, запер, а ключ привязал к связке, что носил на поясе. Там были еще ключи от чулана, от ворот, от комнат, от большого сундука и еще бог весть от чего. Настроение у него было прекрасное, это я понял по его пению. Когда он был чем-нибудь доволен, то всегда напевал вполголоса. Сейчас он пел какую-то непонятную песню «Антал-хади, антал-хак, лайсал-хади, шлал ху...»

Вечером, после четвертой молитвы, уста Салим, как обычно, стал читать вслух какую-то книгу толщиной в кирпич. Все слушали, затаив дыхание. Потом улеглись спать. Разбудил меня старый перепел, за которым Хаджи-баба, получивший его в подарок из Ура-тубе, любовно ухаживал с самого Науруза. С минуту я лежал, слушая его пошвыстывание, потом встал, умылся, поставил самовар. Следом встали уста Салим и индиец. Я продолжал наводить порядок, приготовил все для завтрака. Вошел и Хаджи-баба. Видно, проснулся он с тем же прекрасным настроением, потому что, как и вечером, напевал свое «Антал-хади». Мы обменялись приветствиями.

— Самовар вскипел, Хаджи-баба, если дадите чай, я заварю...

Он перебрал связку у себя на поясе, нашел ключ от ирбитского ларца, отделил его от остальных и взглянул наверх. Ларца наверху не было.

— Ты что, ларец под голову спрятал? Молодец, сынок, осторожность вещь хорошая, так-то вот. Говорят, соблюдай осторожность, только соседа вором не считай... Ну, куда ты его поставил?

— Хаджи-баба, я его никуда не прятал! И под голову не клал. Он был на месте.

— Что, что? — спросил Хаджи-баба встревоженно. — На месте был? Уста Салим, вы не видели?

— Вечером видел, он там стоял.

— Так ищите же! — сказал Хаджи-баба, чуть не плача. Потом он сжал губы и зло посмотрел на меня: — Подума́й как следует, нечестивец, куда ты его дел?

— Хаджи-баба, ну ей-богу, не трогал я его! Я же ваши вещи никогда не трогаю, вы же знаете! Чтоб мне провалиться, если я знаю, где этот ларец...

— Он не птица, чтобы самому улететь! И не лягушка, чтобы выпрыгнуть! Так-то вот! Ищи, проклятый! Не смей шутить со старым человеком!

— Хаджи-баба, да разве я когда-нибудь...

Он оборвал меня:

— Кто сюда заходил после меня?

— Никого не было, Хаджи-баба, даже сорока не залетала!

— Никого? — сказал Хаджи-баба в ярости, передразнивая меня. — Опять никого, и ты не виноват!

Он погрозил мне кулаком и начал поиски, заперев дверь курильни. Он перевернул все вверх дном, даже полнейские и те так не старались. Он дважды обследовал пустую щель, где стоял ларец, как будто думал, что тот может появиться сам собой, заглянул под курпачу, в трубу самовара, потом стукнул меня и велел раскрыть рот: может, он думал, что я съел его ларец по частям и теперь от испуга начну выплевывать непереваренные кусочки? Совершенно разъярившись, он схватил свои любимые медные щипцы и стал меня колотить. Уста Салим к нему присоединился. Я орал во весь голос. Я вправду испугался, потому что ларец я и трогать не трогал, черт его знает, куда он исчез! Наконец, изрядно избив меня, они угомонились. Индеец, который смотрел на все это, забившись в уголок, плакал от жалости ко мне, но не вступался. Видно, он растерялся или вправду считал меня вором...

— Проклятое отродье, — говорил Хаджи-баба, — ишь, мягкий веник! Говорят: вскорми осиротевшего теленка — рот и нос будут в масле; вскорми осиротевшего мальчишку — рот и нос будут в крови. Так вот оно и бывает, да! Как ты у меня прижился — так и дней спокойных не стало! Говори, куда сплавил ларец, по-хорошему говори, вернешь его — все забудем. А иначе я тебя к казнию поведу, в суд, да, так-то вот оно! Несдобровать тебе тогда, в Сибирь попадешь!

Я ответил, всхлипывая:

— Если уж на то пошло, Хаджи-баба, я и сам вас к ка-

зию позову! Где это видано, сколько я у вас работаю, а получил одну старую шапку! Да еще избili вы меня, сироту! Где это в шарияте такое сказано? Думаете, я к белому царю дорогу не найду? Ой, мамочки, ой-ей-ей...

— Ах ты, негодный, да ты и так еще разговаривать умеешь! Неблагодарная твоя душонка! Вон отсюда! Убийрайся сейчас же! Что я тебе должен, получишь на Страшном суде!

Тут уста Салим вмешался:

— Хаджи-баба, зачем вам его гнать? Черт с ним! — Тут он подмигнул Хаджи-баба. — А ты, мальчик, укороти язык, понял? Если не ты взял, скажи, кого подозреваешь?

Тут индеец не выдержал:

— О, бедный мальчик, несчастный сирота! — сказал он дрожащим голосом. — Хаджи-баба, я оплачу стоимость вашей пропажи. Во сколько вы свой ларец цените?

— Прекрати свой мешават-пешават! — сердито оборвал его Хаджи-баба. Потом снова обратился ко мне: — Скажи нам, кого ты подозреваешь?

Я и вправду не знал, кого мне подозревать. Потом я подумал про Султана-курносого. Может, он?

— Тяжело клеветать на других, хозяин, — сказал я. — Только мне думается, это курносый. Зря ли он полицейских сюда привел? Он против вас всех, видно, зло затаил!

— Гм, — сказал Хаджи-баба. — Ну, это мы проверим. Он от нас никуда не денется...

На том все кончилось. Но день был испорчен, курильню открыли только к полудню, да и то, несмотря на праздник, народу пришло мало. Вечером я разделался со всеми делами. Потом притворился, что ложусь спать. Хаджи-баба уже ушел к себе, индеец нынче не было, а уста Салим подозрительно долго не ложился. Видно, караулил меня. Но сон в конце концов его сморил. Тогда я выскочил и побежал к тополю, под которым зарыта была пепельница с частью моих денег. Потом я вернулся тихонько, уста Салим спал. Я достал иголку и принялся в темноте кое-как зашивать все монеты в кромку индийского халата. Денег было что-то около сорока рублей — целое состояние! Если б не война, можно купить десять баранов!

Я уже кончал свою работу, когда вдруг, неловко наклонившись, задел стоявшую рядом пепельницу, и она с грохотом покатилась. Уста Салим проснулся и вскочил в испуге:



— Кто... кто тут?

— Никого нет, мулла-ака, это я... — сказал я спокойно. Монеты все уже были зашиты.

— Что... что ты делаешь там, в темноте, а?

— Ничего я не делаю, халат свой зашиваю. Выгоняют меня, так не идти же мне в рваном халате!

— А ну, зажги лампу!

Я встал и зажег. Он жадно оглядел комнату, увидел мой халат и иголку с ниткой, торчавшую из кромки.

— Бедненький мальчик, — сказал он лицемерным сладким голосом. — И вправду, гляди-ка, шьет в темноте... А ведь зря ты шьешь. Меняла у тебя халат обратно заберет. Такой жадюга! — Я посмотрел на него, он на меня, лицо у него было сонное, а глаза хитрые-прехитрые. У меня вдруг одна мысль мелькнула. — Да, — продолжал уста Салим, — ты видал, какие деньги он здесь пересчитывает? А ведь я сижу тут, нуждаясь в горсточке кишмиша! Не помню, чтоб он мне хоть раз медяк дал... — Он помолчал. — Ты лучше уходи, пока можно, да и почь нынче лунная. Жалко, конечно, я тебе как раз завтра змея хотел сделать... — Он покосился на меня. — Теперь и бумага и камыш зря пропадут! Ничего не поделаешь, такая у тебя судьба...

Я притворился страшно огорченным.

— Что вы, мулла-ака, неужели он вправду халат обратно отберет? — Я знал, конечно, что это вранье, ведь уста Салим и не подозревал о подарках, которые делал мне индеец. Мне кое-что стало ясно.

— Отберет, жадюга! — сказал уста Салим. — И не задумается! Уходи, пока луна да все спят... И прощаться нечего. Хаджи-баба не любит много разговаривать, ему молчаливые по душе.

«Как же! — подумал я. — Нашел молчальника. Вот оно что, Ильхам-чайханщик содержал поугая, чтоб собирать людей в своей чайхане, а Хаджи-баба держит для этой цели уста Салима. Чему Хаджи-баба его учит, то он и говорит. А ларец-то он украл! Он, точно. Только без ведома Хаджи-баба... Ну, ладно, черт с ними, пусть себе разбираются, мне ведь главное — уйти отсюда тихо». Я сказал:

— Спасибо за совет, уста Салим, как вы скажете, так и сделаю. Уйду...

Я налил в кумган воды из самовара, вышел и помылся теплой водой. Помыл лицо, руки, ноги — в честь избавления. Потом зашел, надел халат и шапку. Уста Салим

жадно следил за мной. Следи, следи, денег моих ты не увидишь! Я поклонился ему и вышел.

После первого снега снова потеплело, но воздух все же был холодный, благо я был одет и обут. Я вздохнул полной грудью и тут только понял, до чего спертый и вонючий воздух в курильне. Ах, теперь я легок, чист, свободен, как птица, вылечившая крыло! До рассвета еще далеко, но на душе у меня уже словно заря занимается! Куда же я иду?

. Домой! Домой!

